

Николай Добролюбов

Темное царство



Николай Александрович Добролюбов

Темное царство

Статья «Темное царство» – одно из важнейших литературно-теоретических выступлений Добролюбова, сочетавшее мастерский критический разбор драматургии Островского с далеко идущими выводами общественно-политического порядка. Характеризуя очень большое национально-демократическое значение комедий Островского, одинаково не понятых критикой и славянофильского и буржуазно-либерального лагеря, Добролюбов доказывал, что пафосом Островского как одного из самых передовых русских писателей является обнажение «неестественности общественных отношений, происходящих вследствие самодурства одних и несправности других». Верно и глубоко определив общественное содержание драматургии Островского, его «пьес жизни», Добролюбов показал типическое, обобщающее значение его образов, раскрыл перед читателем потрясающую картину «темного царства», гнетущего произвола, нравственного растления людей.

Содержание

I0005
II0057
III0144
IV0190
V0232
Примечания0324

**Николай Александрович
Добролюбов
Темное царство**

(Сочинения А. Островского. Два тома.
СПб., 1859)

Что ж за направление такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, – и хоть бы какой-нибудь смысл был... Однако ж разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина.
 Гоголь{1}

Ни один из современных русских писателей не подвергался, в своей литературной деятельности, такой странной участи, как Островский. Первое произведение его («Картина семейного счастья») не было замечено решительно никем, не вызвало в журналах ни одного слова – ни в похвалу, ни в порицание автора{2}. Через три года явилось второе произведение Островского: «Свои люди – сочтемся»; автор встречен был всеми как человек совершенно новый в литературе, и немедленно всеми признан был писателем необычайно талантливым, лучшим, после Гоголя, представителем драматического искусства в русской литературе. Но, по одной из тех странных, для обыкновенного читателя, и

очень досадных для автора, случайностей, которые так часто повторяются в нашей бедной литературе, – пьеса Островского не только не была играна на театре, но даже не могла встретить подробной и серьезной оценки ни в одном журнале. «Свои люди», напечатанные сначала в «Москвитянине», успели выйти отдельным оттиском, но литературная критика и не заикнулась о них. Так эта комедия и пропала, – как будто в воду канула, на некоторое время. Через год Островский написал новую комедию: «Бедная невеста». Критика отнеслась к автору с уважением, называла его беспрестанно автором «Своих людей» и даже заметила, что обращает на него такое внимание более за первую его комедию, нежели за вторую, которую все признали слабее первой. Затем каждое новое произведение Островского возбуждало в журналистике некоторое волнение, и вскоре по поводу их образовались даже две литературные партии, радикально противоположные одна другой. Одну партию составляла молодая редакция «Москвитянина»{3}, провозгласившая, что Островский «четырьмя пьесами создал народ-

ный театр в России»{4}, что он —

*Поэт, глашатай правды новой,
Нас миром новым окружил
И новое сказал нам слово,
Хоть правде старой послужил, —*

и что эта старая правда, изображаемая Островским, —

*Простее, но дороже,
Здоровей действует на грудь,{5}*

нежели правда шекспировских пьес.

Стихи эти напечатаны в «Москвитянине» (1854 г., № 4) по поводу пьесы «Бедность не порок», и преимущественно по поводу одного лица ее, Любима Торцова. Над их эксцентричностью много смеялись в свое время, но они не были пиитической вольностью, а служили довольно верным выражением критических мнений партии, безусловно восхищавшейся каждой строкою Островского. К сожалению, мнения эти высказывались всегда с удивительной заносчивостью, туманностью и неопределенностью, так что для противной партии невозможен был даже серьезный спор. Хвалители Островского кричали, что он

сказал *новое слово*{6}. Но на вопрос: «В чем же состоит это новое слово»? – долгое время ничего не отвечали, а потом сказали, что это *новое слово* есть не что иное, как – что бы вы думали? – *народность!* Но народность эта была так неловко вытащена на сцену по поводу Любима Торцова и так сплетена с ним, что критика, неблагоприятная Островскому, не преминула воспользоваться этим обстоятельством, высунула язык неловким хвалителям и начала дразнить их: «Так ваше *новое слово* – в Торцове, в Любиме Торцове, в пьянице Торцове! Пропойца Торцов – ваш идеал» и т. д. Это показыванье языка было, разумеется, не совсем удобно для серьезной речи о произведениях Островского; но и то нужно сказать, – кто же мог сохранить серьезный вид, прочитав о Любиме Торцове такие стихи:

*Поэта образы живые
Высокий комик в плоть облек...
Вот отчего теперь впервые
По всем бежит единый ток.
Вот отчего театра зала
От верху до низу одним
Душевным, искренним, родным*

*Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой.*

—

*Комедия ль в нем плачет перед
нами,
Трагедия ль хохочет вместе с
ним, —
Не знаем мы и ведать не хотим!
Скорей в театр! Там ломаются
толпами,
Там по душе теперь гуляет быт
родной:
Там песня русская свободно, звон-
ко льется;
Там человек теперь и плачет и
смеется,
Там целый мир, мир полный и
живой.
И нам, простым, смиренным ча-
дам века,
Не страшно, весело теперь за че-*

ловека:

*На сердце так тепло, так вольно
дышит грудь.*

*Любим Торцов душе так прямо
кажет путь! (куда?)*

*Великорусская на сцене жизнь пи-
рует,*

*Великорусское начало торже-
ствует,*

Великорусской речи склад

*И в присказке лихой, и в песне иг-
реливой.*

*Великорусский ум, великорусский
взгляд,*

*Как Волга-матушка, широкий и
гульливый...*

Тепло, привольно, любо нам,

*Уставшим жить болезненным
обманом!..*

За этими стихами следовали ругательства на Рагдель{7} и на тех, кто ею восхищался, обнаруживая тем дух рабского, слепого подражанья{8}. Пусть она и талант, пусть гений, – восклицал автор стихотворения, – «но нам не ко двору пришло ее искусство!» Нам, говорит, нужна правда, не в пример другим. И при сей верной okazji стихотворный критик ругал

Европу и Америку и хвалил Русь в следующих поэтических выражениях:

*Пусть будет фальшь мила
Европе старой,
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной...
Но наша Русь крепка!
В ней много силы, жара;
И правду любит Русь; и правду
понимать
Дана ей господом святая благо-
дать;
И в ней одной теперь приют нахо-
дит
Все то, что человека благоро-
дит!..*

Само собою разумеется, что подобные возгласы по поводу Торцова о том, что человека благородит, не могли повести к здравому и беспристрастному рассмотрению дела. Они только дали критике противного направления справедливый повод прийти в благородное негодование и воскликнуть в свою очередь о Любиме Торцове:

– И это называется у кого-то новое слово, это поставляется на вид как

лучший цвет всей нашей литературной производительности за последние годы! За что же такая невежественная хула на русскую литературу? Действительно, такого слова еще не говорилось в ней, такого героя никогда и не снилось ей, благодаря тому, что в ней еще свежи были старые литературные предания, которые не допустили бы такого искажения вкуса. Любим Торцов мог явиться на сцене во всем безобразии лишь в то время, когда они начали приходить в забвенье... Удивляет и непонятно поражает нас то, что пьяная фигура какого-нибудь Торцова могла вырасти до идеала, что ею хотят гордиться как самым чистым воспроизведением народности в поэзии, что Торцовым меряют успехи литературы и навязывают его всем в любовь под тем предлогом, что он-де нам «свой», что он у нас «ко двору!» Не есть ли это искажение вкуса и совершенное забвение всех чистых литературных преданий? Но ведь есть же стыд, есть литературные приличия, которые остаются и после того, как лучшие предания утрачены, за что же

мы будем срамить себя, называя *Торцова «своим»* и возводя его в наши поэтические идеалы? (От. зап., 1854 г., № VI).

Мы сделали эту выписку из «Отечествен. записок»{9} потому, что из нее видно, как много вредила всегда Островскому полемика между его порицателями и хвалителями[1]. «Отечествен. записки» постоянно служили неприятельским станом для Островского, и большая часть их нападений обращена была на критиков, превозносивших его произведения. Сам автор постоянно оставался в стороне, до самого последнего времени, когда «Отечествен. записки» объявили, что Островский вместе с г. Григоровичем и г-жою Евгениею Тур – уже закончил свою поэтическую деятельность (см. «Отечествен. записки», 1859 г., № VI){10}. А между тем все-таки на Островского падала вся тяжесть обвинения в поклонении Любиму Торцову, во вражде к европейскому просвещению, в обожании нашей допетровской старины и пр. На его дарование ложилась тень какого-то староверства, чуть не обскурантизма. А защитники его все толковали о новом слове, – не произнося его од-

нако ж, – да провозглашали, что Островский есть первый из современных русских писателей, потому что у него какое-то *особенное миросозерцание*... Но в чем состояла эта особенность, они объясняли тоже очень запутанно. Большею частью отделялись они фразами, напр. в таком роде:

У Островского, одного в настоящую эпоху литературную, есть свое прочное новое и вместе идеальное миросозерцание с особенным оттенком (!), обусловленным как данными эпохи, так, может быть, и данными природы самого поэта. Этот оттенок мы назовем, нисколько не колеблясь, коренным русским миросозерцанием, здоровым и спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без увлечений в ту или другую крайность, идеальным, наконец, в справедливом смысле идеализма, без фальшивой грандиозности или столько же фальшивой сентиментальности (Москв., 1853 г., № 1){11}.

«Так он писал – темно и вяло»{12} – и нимало не разъяснял вопроса об особенностях

таланта Островского и о значении его в современной литературе. Два года спустя тот же критик предположил целый ряд статей «О комедиях Островского и о их значении в литературе и на «сцене» («Москв.», 1855 г., № 3), но остановился на первой статье{13}, да и в той выказал более претензий и широких замашек, нежели настоящего дела. Весьма бесцеремонно нашел он, что нынешней критике *пришелся не по плечу* талант Островского, и потому она стала к нему в положение очень комическое; он объявил даже, что и «Свои люди» не были разобраны потому только, что и в них уже высказалось *новое слово*, которое критика хоть и видит, да *зубом неймет...* Кажется, уж причины-то молчания критики о «Своих людях» мог бы знать положительно автор статьи, не пускаясь в отвлеченные соображения! Затем, предлагая программу своих воззрений на Островского, критик говорит, в чем, по его мнению, выражалась *самобытность таланта*, которую он находит в Островском, – и вот его определения. «Она выражалась – 1) *в новости быта*, выводимого автором и до него еще непочатого, *если исклю-*

чить некоторые очерки Вельтмана и Луганского (хороши предшественники для Островского!!); 2) в новости отношения автора к изображаемому им быту и выводимым лицам; 3) в новости манеры изображения; 4) в новости языка – в его цветистости (!), особенностях (?)». Вот вам и все. Положения эти не разъяснены критиком. В продолжении статьи брошено еще несколько презрительных отзывов о критике, сказано, что «солон ей этот быт (изображаемый Островским), солон его язык, солон его типы, – солон по ее собственному состоянию», – и затем критик, ничего не объясняя и не доказывая, преспокойно переходит к Летописям, Домострою и Посошкову, чтобы представить «обозрение отношений нашей литературы к народности». На этом и покончено было дело критика, взявшегося быть адвокатом Островского против противоположной партии. Вскоре потом сочувственная похвала Островскому вошла уже в те пределы, в которых она является в виде увесистого булыжника, бросаемого человеку в лоб услужливым другом^{14}: в первом томе «Русской беседы» напечатана была

статья г. Тертия Филиппова о комедии «Не так живи, как хочется». В «Современнике» было в свое время выставлено дикое безобразие этой статьи, проповедующей, что жена должна с готовностью подставлять спину бьющему ее пьяному мужу, и восхваляющей Островского за то, что он будто бы разделяет эти мысли и умел рельефно их выразить...{15}. В публике статья эта была встречена общим негодованием. По всей вероятности, и сам Островский (которому опять досталось тут из-за его непризванных комментаторов) не был доволен ею; по крайней мере с тех пор он уже не подал никакого повода еще раз наклепать на него столь милые вещи.

Таким образом, восторженные хвалители Островского немного сделали для объяснения публике его значения и особенностей его таланта; они только помешали многим прямо и просто взглянуть на него. Впрочем, восторженные хвалители вообще редко бывают истинно полезны для объяснения публике действительного значения писателя; порицатели в этом случае гораздо надежнее: выискивая недостатки (даже и там, где их нет), они

все-таки представляют свои требования и дают возможность судить, насколько писатель удовлетворяет или не удовлетворяет им. Но в отношении к Островскому и порицатели его оказались не лучше поклонников. Если свести в одно все упреки, которые делались Островскому со всех сторон в продолжение целых десяти лет и делаются еще доселе, то решительно нужно будет отказаться от всякой надежды понять, чего хотели от него и как на него смотрели его критики. Каждый представлял свои требования, и каждый при этом бранил других, имеющих требования противоположные, каждый пользовался непременно каким-нибудь из достоинств одного произведения Островского, чтобы вменить их в вину другому произведению, и наоборот. Одни упрекали Островского за то, что он изменил своему первоначальному направлению и стал, вместо живого изображения жизненной пошлости купеческого быта, представлять его в идеальном свете. Другие, напротив, похваливая его за идеализацию, постоянно оговаривались, что «Своих людей» они считают произведением недодуманным, односторонним,

фальшивым даже[2]. При последующих произведениях Островского, рядом с упреками за приторность в прикрашивании той пошлой и бесцветной действительности, из которой брал он сюжеты для своих комедий, слышались также, с одной стороны, восхваления его за самое это прикрашивание[3], а с другой – упреки в том, что он дагерротипически изображает всю грязь жизни[4]. Этой противоположности в самых основных воззрениях на литературную деятельность Островского было бы уже достаточно для того, чтобы сбить с толку простодушных людей, которые бы вздумали довериться критике в суждениях об Островском. Но противоречие этим не ограничивалось; оно простиралось еще на множество частных замечок о разных достоинствах и недостатках комедий Островского. Разнообразие его таланта, широта содержания, охватываемого его произведениями, беспрестанно подавали повод к самым противоположным упрекам. Так, напр., за «Доходное место» упрекнули его в том, что выведенные им взяточники *не довольно омерзительны*[5]; за «Воспитанницу» осудили, что лица, в ней

изображенные, *слишком уж омерзительны* [6]. За «Бедную невесту», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется» Островскому приходилось со всех сторон выслушивать замечания, что он пожертвовал выполнением пьесы для своей основной задачи [7], и за те же произведения привелось автору слышать советы вроде того, чтобы он не довольствовался рабской подражательностью природе, а постарался *расширить свой умственный горизонт* [8]. Мало того – ему сделан был даже упрек в том, что верному изображению действительности (т. е. исполнению) он отдается слишком исключительно, не заботясь об *идее* своих произведений. Другими словами, – его упрекали именно в отсутствии или ничтожестве *задач*, которые другими критиками признавались уж слишком широкими, слишком превосходящими средства самого их выполнения [9].

Словом – трудно представить себе возможность середины, на которой можно было бы удержаться, чтобы хоть сколько-нибудь согласить требования, в течение десяти лет предъявлявшиеся Островскому разными (а

иногда и теми же самыми) критиками. То – зачем он слишком чернит русскую жизнь, то – зачем белит и румянит ее? То – для чего предается он дидактизму, то – зачем нет нравственной основы в его произведениях?.. То – он слишком рабски передает действительность, то – неверен ей; то – он очень уж заботится о внешней отделке, то – небрежен в этой отделке. То – у него действие идет слишком вяло; то – сделан слишком быстрый поворот, к которому читатель недостаточно подготовлен предыдущим. То – характеры очень обыкновенны, то – слишком исключительны... И все это часто говорилось, по поводу одних и тех же произведений, критиками, которые должны были сходиться, по-видимому, в основных воззрениях. Если бы публике приходилось судить об Островском только по критикам, десять лет сочинявшимся о нем, то она должна была бы остаться в крайнем недоумении о том: что же наконец думать ей об этом авторе? То он выходил, по этим критикам, квасным патриотом, обскурантом, то прямым продолжателем Гоголя в лучшем его периоде; то славянофилом, то западником; то

создателем народного театра, то гостинодворским Коцебу{16}, то писателем с новым особенным мирозерцанием, то человеком, нимало не осмысливающим действительности, которая им копируется. Никто до сих пор не дал не только полной характеристики Островского, но даже не указал тех черт, которые составляют существенный смысл его произведений.

Отчего произошло такое странное явление? «Стало быть, была какая-нибудь причина?» Может быть, действительно Островский так часто изменяет свое направление, что его характер до сих пор еще не мог определиться? Или, напротив, он с самого начала стал, как уверяла критика «Москвитянина», на ту высоту, которая превосходит степень понимания современной критики?{17} Кажется, ни то, ни другое. Причина безалаберности, господствующей до сих пор в суждениях об Островском, заключается именно в том, что его хотели непременно сделать представителем известного рода убеждений, и затем карали за неверность этим убеждениям или возвышали за укрепление в них, и наоборот. Все

признали в Островском замечательный талант, и вследствие того всем критикам хотелось видеть в нем поборника и проводника тех убеждений, которыми сами они были проникнуты. Людям с славянофильским оттенком очень понравилось, что он хорошо изображает русский быт, и они без церемонии провозгласили Островского поклонником «*благодушной русской старины*» в пику тлетворному Западу. Как человек, действительно знающий и любящий русскую народность, Островский действительно подал славянофилам много поводов считать его «своим», а они воспользовались этим так неумеренно, что дали противной партии весьма основательный повод считать его врагом европейского образования и писателем ретроградного направления. Но, в сущности, Островский никогда не был ни тем, ни другим, по крайней мере в своих произведениях. Может быть, влияние кружка и действовало на него, в смысле признания известных отвлеченных теорий, но оно не могло уничтожить в нем верного чутья действительной жизни, не могло совершенно закрыть пред ним дороги, ука-

занной ему талантом. Вот почему произведения Островского постоянно ускользали из-под обеих, совершенно различных мерок, прикидываемых к нему с двух противоположных концов. Славянофилы скоро увидели в Островском черты, вовсе не служащие для проповеди смирения, терпения, приверженности к обычаям отцов и ненависти к Западу, и считали нужным упрекать его – или в недосказанности, или в уступках *отрицательно*му воззрению. Самый нелепый из критиков славянофильской партии очень категорически выразился, что у Островского все бы хорошо, «но у него иногда недостает решительности и смелости в исполнении задуманного: ему как будто мешает ложный стыд и робкие привычки, воспитанные в нем *натуральным* направлением. Оттого нередко он затеет что-нибудь *возвышенное или широкое*, а память о *натуральной мерке* и спугнет его замысел; ему бы следовало дать волю счастливому внушению, а он как будто испугается высоты полета, и образ выходит какой-то недоделанный» («Рус. бес.»){18}. В свою очередь, люди, пришедшие в восторг от «Своих людей», ско-

ро заметили, что Островский, сравнивая старинные начала русской жизни с новыми началами европеизма в купеческом быту, постоянно склоняется на сторону первых. Это им не понравилось, и самый нелепый из критиков так называемой *западнической* партии выразил свое суждение, тоже очень категорическое, следующим образом: «Дидактическое направление, определяющее характер этих произведений, не позволяет нам признать в них истинно поэтического таланта. Оно основано на тех началах, которые называются у наших славянофилов народными. Им-то подчинил г. Островский в комедиях и драме мысль, чувство и свободную волю человека» («Атеней», 1859 г.)^{19}. В этих двух противоположных отрывках можно найти ключ к тому, отчего критика до сих пор не могла прямо и просто взглянуть на Островского как на писателя, изображающего жизнь известной части русского общества, а все усмотрели на него как на проповедника морали, сообразной с понятиями той или другой партии. Отвергнувши эту, заранее приготовленную, мерку, критика должна была бы приступить к про-

изведениям Островского просто для их изучения, с решительностью брать то, что дает сам автор. Но тогда нужно было бы отказаться от желания завербовать его в свои ряды, нужно было бы поставить на второй план свои предубеждения к противной партии, нужно было бы не обращать внимания на самодовольные и довольно наглые выходки противной стороны... а это было чрезвычайно трудно и для той, и для другой партии. Островский и сделался жертвою полемики между ними, взявши в угоду той и другой несколько неправильных аккордов и тем еще более сбивши их с толку.

К счастью, публика мало заботилась о критических перекорах и сама читала комедии Островского, смотрела на театре те из них, которые допущены к представлению, перечитывала опять и таким образом довольно хорошо ознакомилась с произведениями своего любимого комика. Благодаря этому обстоятельству труд критика значительно облегчается теперь. Нет надобности разбирать каждую пьесу порознь, рассказывать содержание, следить развитие действия сцена за сценой, под-

бирать по дороге мелкие неловкости, выхватывать удачные выражения и т. п. Все это читателям уже очень хорошо известно: содержание пьес все знают, о частных промахах было говорено много раз, удачные, меткие выражения давно уже подхвачены публикой и употребляются в разговорной речи вроде поговорок. С другой стороны – навязывать автору свой собственный образ мыслей тоже не нужно, да и неудобно (разве при такой отваге, какую выказал критик «Атенея», г. Н. П. Некрасов, из Москвы): теперь уже для всякого читателя ясно, что Островский не обскурант, не проповедник плетки как основания семейной нравственности, не поборник гнусной морали, предписывающей терпение без конца и отречение от прав собственной личности, – равно как и не слепой, ожесточенный пасквилянт, старающийся во что бы то ни стало выставить на позор *грязные пятна* русской жизни. Конечно, вольному воля: недавно еще один критик^{20} пытался доказать, что основная идея комедии «Не в свои сани не садись» состоит в том, что безнравственно купчихе лезти замуж за дворянина, а гораздо благо-

нравнее выйти за ровню, по приказу родительскому. Тот же критик решил (очень энергично), что в драме «Не так живи, как хочется» Островский проповедует, будто «полная покорность воле старших, слепая вера в справедливость исстари предписанного закона и совершенное отречение от человеческой свободы, от всякого притязания на право заявить свои человеческие чувства гораздо лучше, чем самая мысль, чувство и свободная воля человека». Тот же критик весьма остроумно сообразил, что «в сценах «Праздничный сон до обеда» осмеяно суеверие во сны»...[10] Но ведь теперь два тома сочинений Островского в руках у читателей – кто же поверит такому критику?

Итак, предполагая, что читателям известно содержание пьес Островского и самое их развитие, мы постараемся только припомнить черты, общие всем его произведениям или большей части их, свести эти черты к одному результату и по ним определить значение литературной деятельности этого писателя. Исполнивши это, мы только представим в общем очерке то, что и без нас давно уже зна-

комо большинству читателей, но что у многих, может быть, не приведено в надлежащую стройность и единство. При этом считаем нужным предупредить, что мы не задаем автору никакой программы, не составляем для него никаких предварительных правил, сообразно с которыми он должен задумывать и выполнять свои произведения. Такой способ критики мы считаем очень обидным для писателя, талант которого всеми признан и за которым упрочена уже любовь публики и известная доля значения в литературе. Критика, состоящая в показании того, что *должен* был сделать писатель и насколько хорошо выполнил он свою *должность*, бывает еще уместна изредка, в приложении к автору начинающему, подающему некоторые надежды, но идущему решительно ложным путем и потому нуждающемуся в указаниях и советах. Но вообще она неприятна, потому что ставит критика в положение школьного педанта, собравшегося проэкзаменовать какого-нибудь мальчика. Относительно такого писателя, как Островский, нельзя позволить себе этой схоластической критики. Каждый чи-

татель с полной основательностью может нам заметить: «Зачем вы убиваетесь над соображениями о том, что вот тут нужно было бы то-то, а здесь недостает того-то? Мы вовсе не хотим признать за вами право давать уроки Островскому; нам вовсе не интересно знать, как бы, по вашему мнению, следовало сочинить пьесу, сочиненную им. Мы читаем и любим Островского, и от критики мы хотим, чтобы она осмыслила перед нами то, чем мы увлекаемся часто безотчетно, чтобы она привела в некоторую систему и объяснила нам наши собственные впечатления. А если, уже после этого объяснения, окажется, что наши впечатления ошибочны, что результаты их вредны или что мы приписываем автору то, чего в нем нет, – тогда пусть критика займется разрушением наших заблуждений, но опять-таки на основании того, что дает нам сам автор». Признавая такие требования вполне справедливыми, мы считаем за самое лучшее – применить к произведениям Островского критику *реальную*, состоящую в обозрении того, что нам дают его произведения. Здесь не будет требований вроде того, зачем

Островский не изображает характеров так, как Шекспир, зачем не развивает комического действия так, как Гоголь[11], и т. п. Все подобные требования, по нашему мнению, столько же ненужны, бесплодны и неосновательны, как и требования того, напр., чтобы Островский был комиком страстей и давал нам мольеровских Тартюфов и Гарпагонов или чтоб он уподобился Аристофану и придал комедии политическое значение. Конечно, мы не отвергаем того, что лучше было бы, если бы Островский соединил в себе Аристофана, Мольера и Шекспира; но мы знаем, что этого нет, что это невозможно, и все-таки признаем Островского замечательным писателем в нашей литературе, находя, что он и сам по себе, как есть, очень недурен и заслуживает нашего внимания и изучения...

Точно так же реальная критика не допускает и навязыванья автору чужих мыслей. Пред ее судом стоят лица, созданные автором, и их действия; она должна сказать, какое впечатление производят на нее эти лица, и может обвинять автора только за то, ежели впечатление это неполно, неясно, двусмысленно.

Она никогда не позволит себе, напр., такого вывода: это лицо отличается привязанностью к старинным предрассудкам; но автор выставил его добрым и неглупым, следовательно автор желал выставить в хорошем свете старинные предрассудки. Нет, для реальной критики здесь представляется прежде всего факт: автор выводит доброго и неглупого человека, зараженного старинными предрассудками. Затем критика разбирает, возможно ли и действительно ли такое лицо; нашедши же, что оно верно действительности, она переходит к своим собственным соображениям о причинах, породивших его, и т. д. Если в произведении разбираемого автора эти причины указаны, критика пользуется и ими и благодарит автора; если нет, не пристаёт к нему с ножом к горлу, как, дескать, он смел вывести такое лицо, не объяснивши причин его существования? Реальная критика относится к произведению художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные, характерные черты, но вовсе не суетясь из-за того, зачем это

овес – не рожь, и уголь – не алмаз... Были, пожалуй, и такие ученые, которые занимались опытами, долженствовавшими доказать превращение овса в рожь; были и критики, занимавшиеся доказыванием того, что если бы Островский такую-то сцену так-то изменил, то вышел бы Гоголь, а если бы такое-то лицо вот так отделал, то превратился бы в Шекспира... Но надо полагать, что такие ученые и критики немного принесли пользы науке и искусству. Гораздо полезнее их были те, которые внесли в общее сознание несколько скрывавшихся прежде или не совсем ясных фактов из жизни или из мира искусства как воспроизведения жизни. Если в отношении к Островскому до сих пор не было сделано ничего подобного, то нам остается только пожалеть об этом странном обстоятельстве и постараться поправить его, насколько хватит сил и умения.

Но чтобы покончить с прежними критиками Островского, соберем теперь те замечания, в которых почти все они были согласны и которые могут заслуживать внимания.

Во-первых, всеми признаны в Островском

дар наблюдательности и умение представить верную картину быта тех сословий, из которых брал он сюжеты своих произведений.

Во-вторых, всеми замечена (хотя и не всеми отдана ей должная справедливость) меткость и верность народного языка в комедиях Островского.

В-третьих, по согласию всех критиков, почти все характеры в пьесах Островского совершенно обыденны и не выдаются ничем особенным, не возвышаются над пошлой средою, в которой они поставлены. Это ставится многими в вину автору на том основании, что такие лица, дескать, необходимо должны быть бесцветными. Но другие справедливо находят и в этих будничных лицах очень яркие типические черты.

В-четвертых, все согласны, что в большей части комедий Островского «недостает (по выражению одного из восторженных его хвалителей) экономии в плане и в постройке пьесы» и что вследствие того (по выражению другого из его поклонников) «драматическое действие не развивается в них последовательно и непрерывно, интрига пьесы не сли-

вается органически с идеей пьесы и является ей как бы несколько посторонней»{21}.

В-пятых, всем не нравится слишком крутая, *случайная*, развязка комедий Островского. По выражению одного критика, в конце пьесы «как будто смерч какой проносится по комнате и разом перевертывает все головы действующих лиц»{22}.

Вот, кажется, все, в чем доселе соглашалась всякая критика, заговаривая об Островском... Мы могли бы построить всю нашу статью на развитии этих, всеми признанных, положений и, может быть, избрали бы благую часть. Читатели, конечно, поскучали бы немного; но зато мы отделались бы чрезвычайно легко, заслужили бы сочувствие эстетических критиков и даже, – почему знать? – стяжали бы, может быть, название тонкого ценителя художественных красот и таковых же недостатков. Но, к сожалению, мы не чувствуем в себе призвания *воспитывать эстетический вкус публики*, и потому нам самим чрезвычайно скучно братья за школьную указку с тем, чтобы пространно и глубоко-мысленно толковать о тончайших оттенках

художественности. Предоставляя это гг. Алмазову, Ахшарумову{23} и им подобным, мы изложим здесь только те результаты, какие дает нам изучение произведений Островского относительно изображаемой им действительности. Но предварительно сделаем несколько замечаний об отношении художественного таланта к отвлеченным идеям писателя.

* * *

В произведениях талантливого художника, как бы они ни были разнообразны, всегда можно примечать нечто общее, характеризующее все их и отличающее их от произведений других писателей. На техническом языке искусства принято называть это *миросозерцанием* художника. Но напрасно стали бы мы хлопотать о том, чтобы привести это миросозерцание в определенные логические построения, выразить его в отвлеченных формулах. Отвлеченностей этих обыкновенно не бывает в самом сознании художника; нередко даже в отвлеченных рассуждениях он высказывает понятия, разительно противоположные тому, что выражается в его художественной деятельности, — понятия, принятые им на веру

или добытые им посредством ложных, наско-
ро, чисто внешним образом составленных
силлогизмов. Собственный же взгляд его на
мир, служащий ключом к характеристике его
таланта, надо искать в живых образах, созда-
ваемых им. Здесь-то и находится существен-
ная разница между талантом художника и
мыслителя. В сущности, мыслящая сила и
творческая способность обе равно присущи и
равно необходимы – и философу и поэту. Ве-
личие философствующего ума и величие поэ-
тического гения равно состоят в том, чтобы,
при взгляде на предмет, тотчас уметь отли-
чить его существенные черты от случайных,
затем правильно организовать их в своем со-
знании и уметь овладеть ими так, чтобы
иметь возможность свободно вызывать их
для всевозможных комбинаций. Но разница
между мыслителем и художником та, что у
последнего восприимчивость гораздо живее
и сильнее. Оба они почерпают свой взгляд на
мир из фактов, успевших дойти до их созна-
ния. Но человек с более живой восприимчи-
востью, «художническая натура», сильно по-
ражается самым первым фактом известного

рода, представившимся ему в окружающей действительности. У него еще нет теоретических соображений, которые бы могли объяснить этот факт; но он видит, что тут есть что-то особенное, заслуживающее внимания, и с жадным любопытством всматривается в самый факт, усваивает его, носит его в своей душе сначала как единичное представление, потом присоединяет к нему другие, однородные, факты и образы и, наконец, создает тип, выражающий в себе все существенные черты всех частных явлений этого рода, прежде замеченных художником. Мыслитель, напротив, не так скоро и не так сильно поражается. Первый факт нового рода не производит на него живого впечатления; он большею частью едва примечает этот факт и проходит мимо него, как мимо странной случайности, даже не трудясь его усвоить себе. (Не говорим, разумеется, о личных отношениях: влюбиться, рассердиться, опечалиться – всякий философ может столь же быстро, при первом же появлении *факта*, как и поэт.) Только уже потом, когда много однородных фактов наберется в сознании, человек с слабой восприим-

чивостью обратит на них наконец свое внимание. Но тут обилие частных представлений, собранных прежде и неприметно покоившихся в его сознании, дает ему возможность тотчас же составить из них общее понятие и, таким образом, немедленно перенести новый факт из живой действительности в отвлеченную сферу рассудка. А здесь уже приискивается для нового понятия надлежащее место в ряду других идей, объясняется его значение, делаются из него выводы и т. д. При этом мыслитель – или, говоря проще, человек рассуждающий – пользуется как действительными фактами и теми образами, которые воспроизведены из жизни искусством художника. Иногда даже эти самые образы наводят рассуждающего человека на составление правильных понятий о некоторых из явлений действительной жизни. Таким образом, совершенно ясным становится значение *художественной деятельности в ряду других направлений общественной жизни*: образы, созданные художником, собирая в себе, как в фокусе, факты действительной жизни, весьма много способствуют составлению и распро-

странению между людьми правильных понятий о вещах.

Отсюда ясно, что главное достоинство писателя-художника состоит в *правде* его изображений; иначе из них будут ложные выводы, составятся, по их милости, ложные понятия. Но как понимать *правду* художественных изображений? Собственно говоря, *безусловной неправды* писатели никогда не выдумывают: о самых нелепых романах и мелодрамах нельзя сказать, чтобы представляемые в них *страсти* и пошлости были безусловно ложны, т. е. невозможны даже как уродливая случайность. Но *неправда* подобных романов и мелодрам именно в том и состоит, что в них берутся случайные, ложные черты действительной жизни, не составляющие ее сущности, ее характерных особенностей. Они представляются ложью и в том отношении, что если по ним составлять теоретические понятия, то можно прийти к идеям совершенно ложным. Есть, напр., авторы, посвятившие свой талант на воспевание сладострастных сцен и развратных похождения; сладострастие изображается ими в таком виде, что если им пове-

ритель, то в нем одном только и заключается истинное блаженство человека. Заключение, разумеется, нелепое, хотя, конечно, и бывают действительно люди, которые, по степени своего развития, и не способны понять другого блаженства, кроме этого... Были другие писатели, еще более нелепые, которые превозносили доблести воинственных феодалов, проливавших реки крови, сожигавших города и грабивших вассалов своих. В описании подвигов этих грабителей не было прямой лжи; но они представлены в таком свете, с такими восхвалениями, которые ясно свидетельствуют, что в душе автора, воспевавшего их, не было чувства человеческой правды. Таким образом, всякая односторонность и исключительность уже мешает полному соблюдению правды художником. Следовательно, художник должен – или в полной неприкосновенности сохранить свой простой, младенчески непосредственный взгляд на весь мир, или (так как это совершенно невозможно в жизни) спастись от односторонности возможным расширением своего взгляда, посредством усвоения себе тех общих понятий,

которые выработаны людьми рассуждающими. В этом может выразиться связь знания с искусством. Свободное претворение самых высших умозрений в живые образы и, вместе с тем, полное сознание высшего, общего смысла во всяком, самом частном и случайном факте жизни – это есть идеал, представляющий полное слияние науки и поэзии и доселе еще никем не достигнутый. Но художник, руководимый правильными началами в своих общих понятиях, имеет все-таки ту выгоду пред неразвитым или ложно развитым писателем, что может свободнее предаваться внушениям своей художнической природы. Его непосредственное чувство всегда верно указывает ему на предметы; но когда его общие понятия ложны, то в нем неизбежно начинается борьба, сомнения, нерешительность, и если произведение его и не делается оттого окончательно фальшивым, то все-таки выходит слабым, бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия художника правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда эта гармония и единство отражаются и в произведении. Тогда действитель-

ность отражается в произведении ярче и живее, и оно легче может привести рассуждающего человека к правильным выводам и, следовательно, иметь более значения для жизни.

Если мы применим все сказанное к сочинениям Островского и припомним то, что говорили выше о его критиках, то должны будем сознаться, что его литературная деятельность не совсем чужда была тех колебаний, которые происходят вследствие разногласия внутреннего художнического чувства с отвлеченными, извне усвоенными понятиями. Этими-то колебаниями и объясняется то, что критика могла делать совершенно противоположные заключения о смысле фактов, выставившихся в комедиях Островского. Конечно, обвинения его в том, что он проповедует отречение от свободной воли, идиотское смирение, покорность и т. д., должны быть приписаны всего более недогадливости критиков; но все-таки, значит, и сам автор недостаточно оградил себя от подобных обвинений. И действительно, в комедиях «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется» – существенно дурные

стороны нашего старинного быта обставлены в действии такими случайностями, которые как будто заставляют не считать их дурными. Будучи положены в основу названных пьес, эти случайности доказывают, что автор придавал им более значения, нежели они имеют в самом деле, и эта неверность взгляда повредила цельности и яркости самих произведений. Но сила непосредственного художнического чувства не могла и тут оставить автора, — и потому частные положения и отдельные характеры, взятые им, постоянно отличаются неподдельной истиною. Редко-редко увлечение идеей доводило Островского до натяжки в представлении характеров или отдельных драматических положений, как, например, в той сцене в «Не в свои сани не садись», где Бородин объявляет желание взять за себя опозоренную дочь Русакова. Во всей пьесе Бородин выставляется благородным и добрым по-старинному; последний же его поступок вовсе не в духе того разряда людей, которых представителем служит Бородин. Но автор хотел приписать этому лицу всевозможные добрые качества, и в числе их при-

писал даже такое, от которого настоящие Бородкины, вероятно, отrekliсь бы с ужасом. Но таких натяжек чрезвычайно мало у Островского: чувство художественной правды постоянно спасало его. Гораздо чаще он как будто отступал от своей идеи, именно по желанию остаться верным действительности. Люди, которые желали видеть в Островском непременно сторонника своей партии, часто упрекали его, что он недостаточно ярко выразил ту мысль, которую хотели они видеть в его произведении. Например, желая видеть в «Бедности не порок» апофеозу смирения и покорности старшим, некоторые критики упрекали Островского за то, что развязка пьесы является не необходимым следствием нравственных достоинств смиренного Мити. Но автор умел понять практическую нелепость и художественную ложность такой развязки и потому употребил для нее случайное вмешательство Любима Торцова. Так точно за лицо Петра Ильича в «Не так живи, как хочется» автора упрекали, что он не придал этому лицу той широты натуры, того могучего размаха, какой, дескать, свойствен русскому чело-

веку, особенно в разгуле{24}. Но художническое чутье автора дало ему понять, что его Петр, приходящий в себя от колокольного звона, не есть представитель широкой русской натуры, забубённой головы, а довольно мелкий трактирный гуляка. За «Доходное место» тоже слышались довольно забавные обвинения. Говорили, – зачем Островский вывел представителем честных стремлений такого плохого господина, как Жадов; сердились даже на то, что взяточники у Островского так пошлы и наивны, и выражали мнение, что «гораздо лучше было бы выставить на суд публичный тех людей, которые *обдуманно и ловко* созидают, развивают, поддерживают взяточничество, холопское начало и *со всей энергией* противятся всем, чем могут, проведению в государственный и общественный организм свежих элементов». При этом, прибавляет требовательный критик, «мы были бы самыми напряженными, страстными зрителями то бурного, то ловко выдерживаемого столкновения двух партий» («Атеней», 1858 г., № 10){25}. Такое желание, справедливое в отвлечении, доказывает, однако, что критик со-

вершенно не умел понять то темное царство, которое изображается у Островского и само предупреждает всякое недоумение о том, отчего такие-то лица пошлы, такие-то положения случайны, такие-то столкновения слабы. Мы не хотим никому навязывать своих мнений; но нам кажется, что Островский погрешил бы против правды, наклепал бы на русскую жизнь совершенно чуждые ей явления, если бы вздумал выставлять наших взяточников как правильно организованную, сознательную партию. Где вы у нас нашли подобные партии? В чем открыли вы следы сознательных, обдуманых действий? Поверьте, что если б Островский принялся выдумывать таких людей и такие действия, то как бы ни драматична была завязка, как бы ни рельефно были выставлены все характеры пьесы, произведение все-таки в целом осталось бы мертвым и фальшивым. И то уже есть в этой комедии фальшивый тон в лице Жадова; но и его почувствовал сам автор, еще прежде всех критиков. С половины пьесы он начинает спускать своего героя с того пьедестала, на котором он является в первых сценах, а в по-

следнем акте показывает его решительно неспособным к той борьбе, какую он принял было на себя. Мы в этом не только не обвиняем Островского, но, напротив, видим доказательство силы его таланта. Он, без сомнения, сочувствовал тем прекрасным вещам, которые говорит Жадов; но в то же время он умел почувствовать, что заставить Жадова *делать* все эти прекрасные вещи – значило бы исказить настоящую русскую действительность. Здесь требование художественной правды остановило Островского от увлечения внешней тенденцией и помогло ему уклониться от дороги гг. Соллогуба и Львова{26}. Пример этих бездарных фразеров показывает, что смастерить механическую куколку и назвать ее *честным чиновником* вовсе не трудно; но трудно вдохнуть в нее жизнь и заставить ее говорить и действовать по-человечески. Занявшись изображением честного чиновника, и Островский не везде преодолел эту трудность; но все-таки в его комедии натура человеческая много раз сказывается из-за громких фраз Жадова. И в этом уменье подмечать натуру, проникать в глубь души человека, улов-

лять его чувства, независимо от изображения его внешних, официальных отношений, – в этом мы признаем одно из главных и лучших свойств таланта Островского. И поэтому мы всегда готовы оправдать его от упрека в том, что он в изображении характера не остался верен тому основному мотиву, какой угодно будет отыскать в нем глубокомысленным критикам.

Точно так же мы оправдываем Островского в случайности и видимой неразумности развязок в его комедиях. Где же взять разумности, когда ее нет в самой жизни, изображаемой автором? Без сомнения, Островский сумел бы представить для удержания человека от пьянства какие-нибудь резоны более действительные, нежели колокольный звон; но что же делать, если Петр Ильич был таков, что резонов не мог понимать? Своего ума в человека не вложишь, народного суеверия не переделаешь. Придавать ему смысл, которого оно не имеет, значило бы исказить его и лгать на самую жизнь, в которой оно проявляется. Так точно и в других случаях: создавать непреклонные драматические характе-

ры, ровно и обдуманно стремящиеся к одной цели, придумывать строго соображенную и тонко веденную интригу – значило бы навязывать русской жизни то, чего в ней вовсе нет. Говоря по совести, никто из нас не встречал в своей жизни мрачных интриганов, систематических злодеев, сознательных иезуитов. Если у нас человек и подличает, так больше по слабости характера; если сочиняет мошеннические спекуляции, так больше оттого, что окружающие его очень уж глупы и доверчивы; если и угнетает других, то больше потому, что это никакого усилия не стоит, так все податливы и покорны. Наши интриганы, дипломаты и злодеи постоянно напоминают мне одного шахматного игрока, который говорил мне: «Это вздор, будто можно рассчитать заранее свою игру; игроки только напрасно хвалятся этим; а в самом-то деле больше трех ходов вперед невозможно рассчитать». И этот игрок многих еще обыгрывал: другие, стало быть, и трех-то ходов не рассчитывали, а так только – смотрели на то, что у них под носом. Такова и вся наша русская жизнь: кто видит на три шага вперед, тот уже

считается мудрецом и может надуть и оплести тысячи людей. А тут хотят, чтобы художник представлял нам в русской коже каких-нибудь Тартюфов, Ричардов, Шейлоков! По нашему мнению, такое требование совершенно нейдет к нам и сильно отзывается схоластикой. По схоластическим требованиям, произведение искусства не должно допускать случайности; в нем все должно быть строго соображено, все должно развиваться последовательно из одной данной точки, с логической необходимостью *и в то же время естественностью!* Но если *естественность* требует отсутствия *логической последовательности*? По мнению схоластиков, не нужно брать таких сюжетов, в которых случайность не может быть подведена под требования логической необходимости. По нашему же мнению, для художественного произведения годятся всякие сюжеты, как бы они ни были случайны, и в таких сюжетах нужно для естественности жертвовать даже отвлеченной логичностью, в полной уверенности, что жизнь, как и природа, имеет свою логику и что эта логика, может быть, окажется гораздо лучше

той, какую мы ей часто навязываем... Вопрос этот, впрочем, слишком еще нов в теории искусства, и мы не хотим выставлять свое мнение как непреложное правило. Мы только пользуемся случаем высказать его по поводу произведений Островского, у которого везде на первом плане видим верность фактам действительности и даже некоторое презрение к логической замкнутости произведения – и которого комедии, несмотря на то, имеют и занимательность и внутренний смысл.

Высказавши эти беглые замечания, мы, прежде чем перейдем к главному предмету нашей статьи, должны сделать еще следующую оговорку. Признавая главным достоинством художественного произведения жизненную правду его, мы тем самым указываем и мерку, которою определяется для нас *степень достоинства* и значения каждого литературного явления. Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, – можно решить и то, как велик его талант. Без этого все толкования будут напрасны. Напри-

мер, у г. Фета есть талант, и у г. Тютчева есть талант: как определить их относительное значение? Без сомнения, не иначе как рассмотрением сферы, доступной каждому из них. Тогда и окажется, что талант одного способен во всей силе проявляться только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы, а другому доступны, кроме того, – и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни. В показании всего этого и должна бы, собственно, заключаться оценка таланта обоих поэтов. Тогда читатели и без всяких эстетических (обыкновенно очень туманных) рассуждений поняли бы, какое место в литературе принадлежит и тому и другому поэту. Так мы полагаем поступить и с произведениями Островского. Все предыдущее изложение привело нас до сих пор к признанию того, что верность действительности, жизненная правда – постоянно соблюдаются в произведениях Островского и стоят на первом плане, впереди всяких задач и задних мыслей. Но этого

еще мало: ведь и г. Фет очень верно выражает неопределенные впечатления природы, и, однако ж, отсюда вовсе не следует, чтобы его стихи имели большое значение в русской литературе. Для того чтобы сказать что-нибудь определенное о таланте Островского, нельзя, стало быть, ограничиться общим выводом, что он верно изображает действительность; нужно еще показать, как обширна сфера, подлежащая его наблюдениям, до какой степени важны те стороны фактов, которые его занимают, и как глубоко проникает он в них. Для этого-то и необходимо реальное рассмотрение того, что есть в его произведениях.

Общие соображения, которые в этом рассмотрении должны руководить нас, состоят в следующем:

Островский умеет заглядывать в глубь души человека, умеет отличать *натуру* от всех извне принятых уродств и наростов; оттого внешний гнет, тяжесть всей обстановки, давящей человека, чувствуются в его произведениях гораздо сильнее, чем во многих рассказах, страшно возмутительных по содержанию, но внешнею, официальною стороною

дела совершенно заслоняющих внутреннюю, человеческую сторону.

Комедия Островского не проникает в высшие слои нашего общества, а ограничивается только средними, и потому не может дать ключа к объяснению многих горьких явлений, в ней изображаемых. Но тем не менее она легко может наводить на многие аналогические соображения, относящиеся и к тому быту, которого прямо не касается; это оттого, что типы комедий Островского нередко заключают в себе не только исключительно купеческие или чиновничьи, но и общенародные черты.

Деятельность общественная мало затронута в комедиях Островского, и это, без сомнения, потому, что сама гражданская жизнь наша, изобилующая формальностями всякого рода, почти не представляет примеров настоящей деятельности, в которой свободно и широко мог бы выразиться человек. Зато у Островского чрезвычайно полно и рельефно выставлены два рода отношений, к которым человек еще может у нас приложить душу свою, — отношения *семейные* и отношения *по*

имуществу. Не мудрено поэтому, что сюжеты и самые названия его пьес вертятся около семьи, жениха, невесты, богатства и бедности.

Драматические коллизии и катастрофа в пьесах Островского все происходят вследствие столкновения двух партий – *старших и младших, богатых и бедных, своевольных и безответных*. Ясно, что развязка подобных столкновений, по самому существу дела, должна иметь довольно крутой характер и отзываться случайностью.

С этими предварительными соображениями вступим теперь в этот мир, открываемый нам произведениями Островского, и постараемся всмотреться в обитателей, населяющих это *темное царство*. Скоро вы убедитесь, что мы не даром назвали его *темным*.

Где больше строгости, там и греха больше. Надо судить по человечеству.
Островский{27}

Перед нами грустно покорные лица наших младших братьев, обреченных судьбою на зависимое, страдательное существование. Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусков, бедная невеста Марья Андреевна, опозоренная Авдотья Максимовна, несчастная Даша и Надя – стоят перед нами, безмолвно-покорные судьбе, безропотно-унылые... Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди челове-

ческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы, но иногда, на минуту, вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого – и наше сердце стесняется болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники, – они сидят в летаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положение; но тем не менее они чувствуют тяжесть, лежащую на них, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносят ее, так это потому, что каждый крик, каждый вздох среди этого смрадного омуты захватывает им горло, отдается колючею болью в груди, каждое движение тела, обремененного цепями, грозит им увеличением тяжести и мучительного неудобства их положения. И неоткуда ждать им отрады,

негде искать облегчения: над ними буйно и безотчетно владычествует бессмысленное *самодурство*{28}, в лице разных Торцовых, Большовых, Брусковых, Уланбековых и пр., не признающее никаких разумных прав и требований. Только его дикие, безобразные крики нарушают эту мрачную тишину и производят пугливую суматоху на этом печальном кладбище человеческой мысли и воли.

Но не мертвецы же все эти жалкие люди, не в темных же могилах родились и живут они. Вольный божий свет расстилался когда-то и перед ними, хоть на короткое время, в давнюю пору раннего, беззаботного детства. Воспоминание об этой золотой поре не оставляет их и в смрадной тюрьме, и в горькой кабале самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкие размахи руки его напоминают им простор вольной жизни, гордые порывы свободной мысли и горячего сердца – порывы, заглушённые в несчастных страдальцах, но погибшие не совсем без следа. И вот черный осадок недовольства, бессильной злобы, тупого ожесточения начинает шевелиться на дне мрачного

омута, хочет всплыть на поверхность взволнованной бездны и своим мутным наплывом делает ее еще безобразнее и ужаснее. Нет простора и свободы для живой мысли, для задушевного слова, для благородного дела; тяжкий самодурный запрет наложен на громкую, открытую широкую деятельность. Но пока жив человек, в нем нельзя уничтожить стремления жить, т. е. проявлять себя каким бы то ни было образом во внешних действиях. Чем более стремление это стесняется, тем его проявления бывают уродливее; но совсем *не быть* они не могут, пока человек не совсем замер. И такова сила самодурства в этом темном царстве Торцовых, Брусковых и Уланбековых, что много людей действительно замирает в нем, теряет и смысл, и волю, и даже силу сердечного чувства – все, что составляет разумную жизнь, – и в идиотском бессилии прозябает, только совершая отправления животной жизни. Но есть и живучие натуры: те глубоко внутри себя собирают яд своего недовольства, чтобы при случае выпустить его, а между тем неслышно ползут подобно змее, съезживаются, извиваются и перевертываются.

ся ужом и жабою... Они безмолвны, неслышны, незаметны; они знают, что всякое быстрое и размашистое движение отзовется нестерпимой болью на их закованном теле; они понимают, что, рванувшись из своих желез, они не выбегут из тюрьмы, а только вырвут куски мяса из своего тела. И вот они принимаются за работу, глухую и тихую: изгибаясь, вертясь и сжимаясь, они пробуют все возможные манеры – нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потом распилить свои цепи... Начинается воровское, урывчатое движение, с оглядкой, чтобы кто-нибудь не подметил его; начинается обман и подлость, притворство и зложелательство, ожесточение на все окружающее и забота только о себе, о достижении личного спокойствия. Тут нет злобно обдуманых планов, нет сознательной решимости на систематическую, подземную борьбу, нет даже особенной хитрости; тут просто невольное, вынужденное внешними обстоятельствами, вовсе не обдуманное и ни с чем хорошенько не соображенное проявление чувства самосохранения. Как у нас невольно и без нашего сознания появляются

слезы от дыма, от умиления и хрена, как глаза наши невольно щурятся при внезапном и слишком сильном свете, как тело наше невольно сжимается от холода, – так точно эти люди невольно и бессознательно принимаются за плутовскую, лицемерную и грубо эгоистическую деятельность, при невозможности дела открытого, правдивого и радушного... Нечего винить этих людей, хотя и не мешает остерегаться их: они сами не ведают, что творят. Под страхом нагоняя и потасовки, рабски воспитанные, с беспрестанным опасением остаться без куска хлеба, рабски живущие, они все силы свои напрягают на приобретение одной из главных рабских добродетелей – бессовестной хитрости. И чего же им совесть, какую правду, какие права уважать им? Ведь самодурство властвует над ними, давит и убивает их – совершенно бесправно, бессмысленно, бессовестно! В людях, воспитанных под таким владычеством, не может развиваться сознание нравственного долга и истинных начал честности и права. Вот почему безобразнейшее мошенничество кажется им похвальным подвигом, самый гнусный об-

ман – ловкою шуткой. Они могут вас надуть, обкрадывать, подводить под нож и при всем этом оставаться искренне радушными и любезными с вами, сохранять невозмутимое добросердечие и множество истинно добродетельных качеств. В их натуре вовсе нет злости, нет и вероломства; но им нужно как-нибудь выплыть, выбиться из гнилого болота, в которое погружены они сильными самодурами; они знают, что выбраться на свежий воздух, которым так свободно дышат эти самодуры, можно с помощью обмана и денег; и вот они принимаются хитрить, льстить, надуть, начинают и по мелочи, и большими кушами, но всегда тайком и рывком, закладывать в свой карман чужое добро. Что за дело, что оно чужое? Ведь у них самих отняли все, что они имели, *свою волю и свою мысль*; как же им рассуждать о том, что честно и что бесчестно? как не захотеть надуть другого для своей личной выгоды?

Таким образом, наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе, доходящее до совершенного идиотства и плачевнейшего обезличения, переплетаются в темном цар-

стве, изображаемом Островским, с рабскою хитростью, гнуснейшим обманом, бессовестнейшим вероломством. Тут никто не может ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что приятель ваш похвалится тем, как он ловко обсчитал или обворовал вас; компаньон в выгодной спекуляции – легко может забрать в руки все деньги и документы и засадить своего товарища в яму за долги; тесть надует зятя приданым; жених обочтет и обидит сваху; невеста-дочь проведет отца и мать, жена обманет мужа. Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом темном мире: господствующее над ним самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало из него всякое сознание чести и права... И не может быть их там, где повержено в прах и нагло растоптано самодурами человеческое достоинство, свобода личности, вера в любовь и счастье и святыня честного труда.

А между тем тут же, рядом, только за стеною, идет другая жизнь, светлая, опрятная, образованная... Обе стороны темного царства чувствуют превосходство этой жизни и то пугаются ее, то привлекаются к ней. Но основы

этой жизни, ее внутренняя сила – совершенно непонятны для жалких людей, отвыкших от всякой разумности и правды в своих житейских отношениях. Только самые грубые и внешние, бьющие в глаза проявления этой образованности понятны для них, только на них они нападают, ежели вздумают *невзлюбить* образованность, и только *им подражают*, ежели увлекутся страстью жить *по-благородному*. Старик самодур сбреет бороду и станет напиваться шампанским вместо водки; дочь его будет петь *жестокие* романсы и увлекаться офицерами; сын начнет кутить и покупать дорогие платья и шали танцовщицам: вот и весь кодекс их образованности... Зато и те, которые боятся нового света, – если им попадется дурачок Вихорев или Бальзаминов, рады принять его за представителя образованности и по поводу его излить свое негодование на новые порядки... И так через всю жизнь *самодуров*, через все страдальческое существование *безответных* проходит эта борьба с волною новой жизни, которая, конечно, зальет когда-нибудь всю издавна накопленную грязь и превратит топкое болото в

светлую и величавую реку, но которая теперь еще только вздымает эту грязь и сама в нее всасывается, и вместе с нею гниет и смердит... Теперь новые начала жизни только еще тревожат сознание всех обитателей темного царства, вроде далекого привидения или кошмара. Даже для тех, которые решаются сами *подражать новой моде*, она все-таки тяжела так, как тяжел бывает всякий кошмар, хотя бы в нем представлялись видения самые прелестные. И точно как после кошмара, даже те, которые, по-видимому, успели уже освободиться от самодурного гнета и успели возвратить себе чувство и сознание, – и те все еще не могут найтись хорошенько в своем новом положении и, не поняв ни настоящей образованности, ни своего призвания, не умеют удержать и своих прав, не решаются и приняться за дело, а возвращаются опять к той же покорности судьбе или к темным сделкам с ложью и самодурством.

Таково общее впечатление комедий Островского, как мы их понимаем. Чтобы несколько рельефнее выставить некоторые черты этого бледного очерка, напомним

несколько частных, долженствующих служить подтверждением и пояснением наших слов. В настоящей статье мы ограничимся представлением того нравственного растления, тех бессовестно неестественных людских отношений, которые мы находим в комедиях Островского как прямое следствие тяготеющего над всеми самодурства.

Раскрываем первую страницу «Сочинений Островского»{29}. Мы в доме купца Пузатова, в комнате, меблированной без вкуса, с портретами, райскими птицами, разноцветными драпри и бутылками настойки. Марья Антиповна, девятнадцатилетняя девушка, сестра Пузатова, сидит за пядьцами и поет: «*Верный цвет, мрачный цвет*». Потом она говорит сама с собой:

Вот уж и лето проходит, и сентябрь на дворе, а ты сиди в четырех стенах, как монашенка какая-нибудь, и к окну не подходи. Куда как антиресно!

Действительно, жизнь девушки не очень интересна: в доме властвует самодур и мошенник Пузатов, брат Марьи Антиповны; а когда его нет, так подглядывает за своею до-

черью и за молодой женой сына – ворчливая старуха, мать Пузатова, богомольная, добродушная и готовая за грош продать человека. С этими людьми нет ни отрады, ни покоя, ни раздолья для молодых женщин; они должны умереть с тоски и с огорчения на беспрестанное ворчанье старухи да на капризы хозяина. Поневоле начинают они изыскивать для себя тайные развлечения и, разумеется, находят. Вот что говорит Марья Антиповна тотчас после жалобы на судьбу свою:

Что ж, пожалуй, не пускайте, запирайте на замок! тиранствуйте! А мы с сестрицей отпросимся ко всенощной в монастырь, разоденемся, а сами в парк отличимся либо в Сокольники. Надо как-нибудь на хитрости подыматься...

Вот вам первый образчик этой невольной, ненужной хитрости. Как сложилось в Марье Антиповне такое рассуждение, от каких частных случайностей стала развиваться склонность к хитрости, – что нам за дело!..

Мы знаем *общую* причину такого настроения, указанную нам очень ясно самим же

Островским, и видим, что Марья Антиповна составляет не исключительное, а самое обыкновенное, почти всегдашнее явление в этом роде. Более нам ничего и не нужно для объяснения ее ранней испорченности. Но Островский вводит нас в самую глубину этого семейства, заставляет присутствовать при самых интимных сценах, и мы не только понимаем, мы скорбно чувствуем сердцем, что тут не может быть иных отношений, как основанных на обмане и хитрости, с одной стороны, при диком и бессовестном деспотизме, с другой. Сцены Марьи Антиповны с Матреной Савишной, женой Пузатова, и их обеих с кухаркой — объясняют всю гнусность разврата, на котором все держится в этом доме. Матрена Савишна объясняет Маше, что не нужно приучать офицеров под окнами ездить, потому что слава дурная пойдет и после не развяжешься. Между тем у них уж послана кухарка к каким-то молодцам, которые зовут их в Останкино и просят захватить бутылку мадеры. Разумеется, и это делается втихомолку и с трепетом, потому что хоть Пузатова и нет дома, но мать его за всем подсматривает и все-

му мешает. Еще только увидавши в окно возвращающуюся Дарью, Машенька пугливо восклицает: «Ах, сестрица, как бы она маменьке не попалась!» И Дарья действительно попалась; но она сама тоже не промах, — умела отвертеться: «...за шелком, говорит, в лавочку бегала». Надсмотрщицу провели на этот раз. Но вот, среди разговора молодых женщин с кухаркой, раздается маленький шум за сценой; кухарка пугливо прислушивается и говорит: «Никак, матушка, сам приехал»... И действительно, еще из передней раздается голос Пузатова: «Жена! а жена! Матрена Савишна!..» Жена подходит к дверям и спрашивает: «Что такое?» Муж отвечает: «Здравствуй! А ты думала, бог знает что!..» Этот приступ дает уже вам мерку супружеских отношений Антипа Антипыча и Матрены Савишны. Ясно, что жена для него вроде резиновой куколочки, которою забавляются дети: то ноги ей вытянут, то голову сплющат или растянут, и смотрят, какой из этого вид будет. Ни малейшего сознания ее человеческих прав и ни малейшей мысли об уважении ее нравственной личности никогда и не

бывало у Пузатова. Его отношения к ней ограничиваются животными побуждениями и потехой своего самодурства. Он говорит, что жена его, «как разрядится, так лучше всякой барыни, – вальяжней, ей-богу! Ведь те все мелочь; с позволения сказать, взглянуть не на что нашему брату. А она у меня таки тово... То есть я – насчет телесного сложения... Ну, и все такое...» И свои обязанности к жене, для приобретения любви ее, он ограничивает тем же. Вот его отзыв: «Чтоб она меня, молодца такого, да променяла на кого-нибудь, – красавца-то этакого!..» А в чем его красота? Вот его собственное определение: «То ли дело купец хороший, гладкий да румяный, – вот как я. Уж и любить-то есть кого; не то что стрикулист чахлый...» Впрочем, в этом он, может быть, и прав: недаром же у нас рисуются карикатуры пышных камелий во фраках, господ, живущих на счет чужих жен!.. И если Матрена Савишна потихоньку от мужа ездит к молодым людям в Останкино, так это, конечно, означает частью и то, что ее развитие направилось несколько в другую сторону, частью же и то, что ей уж очень тошно приходится от само-

дурства мужа. А самодурство это вот как, напр., выражается: Антип Антипыч, в ожидании чая, сидит и смотрит по углам, наконец отпускает, от нечего делать, следующую шутку:

АНТИП АНТИПЫЧ (грозно). *Жена! Поди сюда!*

МАТРЕНА САВИШНА. *Что еще?*

АНТИП АНТИПЫЧ. *Поди сюда, говорят тебе.* (Ударяет кулаком по столу).

МАТРЕНА САВИШНА. *Да что ты, очумел, что ли?*

АНТИП АНТИПЫЧ. *Что я с тобой сделаю?* (Стучит по столу).

МАТРЕНА САВИШНА. *Да что с тобой?* (Робко). *Антип Антипыч...*

АНТИП АНТИПЫЧ. *А? Испугалась?* (Смеется). *Нет, Матрена Савишна, это я так – шутки шучу.* (Вздыхает). *Что же чайку-то-с?*

Видите, это он со скуки такие шутки шутит! Ему скучно стало чаю дожидаться... Понятно, какие чувства может питать к такому мужу самая невзыскательная жена.

Но Антип Антипыч – еще прогрессивный и гуманный человек в сравнении с своей ма-

тушкой. Он считает удобным побить жену только во хмелю, да и то не совсем одобряет. Выдавая сестру за Ширялова, он спрашивает: «Ты ведь во хмелю смирный? не дерешься?» А матушка его, Степанида Трофимовна, так и этого не признает: она бранит сына, зачем он жену в страхе не держит. «Мой покойник, – говорит, – как меня ни любил, как ни голубил, а в спальне на гвоздике плетка висела про всякий случай». У сына ее нет плетки, и это она считает уже за упадок нравственности... Но жена и без плетки видит необходимость лицемерить перед мужем: она с притворной нежностью целует его, ласкается к нему, отпрашивается у него и у матушки к вечерне да ко всенощной, хотя и сама обнаруживает некоторую претензию на самодурство и говорит, что «не родился тот человек на свет, чтобы ее молчать заставил». Обман и притворство полноправно господствуют в этом доме и представляют нам как будто какую-то особенную религию, которую можно назвать *религиею лицемерства*.

Отставши от жены, Пузатов переходит к сестре и начинает сватать ей женихов. При

этом делаются опять разные скромные намеки насчет телесного сложения, от которых не менее скромная девушка убегает из комнаты. Затем начинается о судьбе ее интимный совет между матерью и сыном. Мать предлагает в женихи Ширялова, которого рекомендует так: «Он хоть и старенький и вдовый, да денег-то, Антипушка, больно много – куры не клюют. Ну да и человек-то степенный, набожный, примерный купец, в уважении». Сын отвечает на это лаконически; «Только, матушка, *уж больно плут*». Подумаешь, что Пузатов уважает честность и не любит мошенничества. Ничуть не бывало. У него есть свои особенные понятия, по которым плутовать следует, но только до каких-то пределов, хотя, впрочем, он и сам хорошенько не знает, до каких именно... А так, покажется ему, что этот человек еще *не больно плут*, а вот этот так *уж больно плут*. И если *уж больно плут*, так у него как будто и совесть зазрит. А впрочем, последствий особенных и это чувство не имеет. Вот что говорят мать и сын относительно своих нравственных понятий. На замечание сына о плутовстве Ширялова Степа-

нида Трофимовна отвечает:

Ах, батюшки мои! Да чем же он плут, скажи пожалуйста! Каждый праздник он в церковь ходит, да придет-то раньше всех; посты держит; великим постом и чаю не пьет с сахаром, – все с медом либо с изюмом. Так-то, голубчик! не то, что ты... А если и обманет кого, так что за беда! Не он первый, не он последний: человек коммерческий; тем, Антипушко, и торговля-то держится. Не помимо пословица-то говорится: «Не обмануть – не продать». АНТИП АНТИПЫЧ. Что говорить! От чего не надуть приятеля, коли рука подойдет. Ничего. Можно. Да уж, матушка, ведь иногда и совесть зазрит. (Чешет затылок.) Право слово. И смертный час вспомнишь. (Молчание.) Я и сам, где трафится, не хуже его мину-то подведу. Да ведь я и скажу потом; вот, мол, я тебя так и так помазал маленько. Вот в прошлом году Савву Саввича, при расчете рубликов на пятьсот поддел. Да ведь я после сказал ему: вот, мол, Савва Саввич, промигал ты полтысячки, да уж теперь, брат, поздно, говорю: а ты, мол,

не зевай. Посердился немножко, да и *опять приятели. Что за важность.*

Вы видите, что Пузатов не считает свои мошенничества дурным делом, не считает даже обманом, а просто – ловкой, умной штукой, которой даже похвалиться можно. И те, кого он обдувает, держатся того же мнения: Савва Саввич посердился на то, что допустил оплести себя, но потом, когда оскорбленное самолюбие угомонилось, он опять стал приятелем с Антипом Антипычем. Обман тут – явление нормальное, необходимое, как убийство на войне. Быт этого темного царства так уж сложился, что вечная вражда господствует между его обитателями. Тут все в войне: жена с мужем – за его самовольство, муж с женой – за ее непослушание или неугодие; родители с детьми – за то, что дети хотят жить своим умом; дети с родителями – за то, что им не дают жить своим умом; хозяйева с приказчиками, начальники с подчиненными воюют за то, что одни хотят все подавить своим самодурством, а другие не находят простора для самых законных своих стремлений; деловые люди воюют из-за того, чтобы другой не пере-

бил у них барышей их деятельности, всегда рассчитанной на эксплуатацию других; праздные шатуны бьются, чтобы не ускользнули от них те люди, трудами которых они задаром кормятся, щеголяют и богатеют. И все эти люди воюют общими силами против людей честных, которые могут открыть глаза угнетенным труженикам и научить их громко и настоятельно предъявить свои права. Вследствие такого порядка дел все находятся в осадном положении, все хлопочут о том, как бы только спасти себя от опасности и обмануть бдительность врага. На всех лицах написан испуг и недоверчивость; естественный ход мышления изменяется, и на место здоровых понятий вступают особенные условные соображения, отличающиеся скотским характером и совершенно противные человеческой природе. Известно, что логика войны совершенно отлична от логики здравого смысла. Военная хитрость восхваляется как доказательство ума, направленного на истребление своих ближних; убийство превозносится как лучшая доблесть человека; удачный грабеж – отнятие лагеря, отбитие обоза и пр. –

возвышает человека в глазах его сограждан. А между тем во всех законодательствах есть наказания и за обман, и за грабеж, и за убийство. Мало того, во всех законодательствах признаются смягчающие обстоятельства, и иногда самое убийство извиняется, если побудительные причины его были слишком неотразимы. А между тем, какие смягчающие обстоятельства имеются, например, для венгерца или славянина, идущего на войну против итальянцев для того, чтобы Австрия могла по-прежнему угнетать их? Какою страшною казнью нужно бы казнить каждого венгерского и славянского офицера или солдата за каждый выстрел, сделанный им по французским и сардинским полкам! Но такова сила повального ослепления, неизбежно заражающего людей в известных положениях, — что за убийство и грабежи на войне не только не казнят никого, но еще восхваляют и награждают! Точно в таком безумном ослеплении находятся все жители темного царства, восстающего перед нами из комедий Островского. Они в постоянной войне со всем окружающим, и потому не требуйте и не ждите от них

рациональных соображений, доступных человеку в спокойном и мирном состоянии. Пузатов делает такой военный силлогизм: «Если я тебя не разобью, так ты меня разобьешь; так лучше же я тебя разобью». И что же сказать против такого силлогизма? И не рождается ли он сам собою у всякого человека, поставленного в затруднительное положение выбирать между победою и поражением? Нечего и удивляться, что, рассказывая о том, как недодал денег немцу, представившему счет из магазина, Пузатов рассуждает так: «А то все ему и отдать? да за что это? Нет, уж опосля честь будет. *Они там ломают цену, какую хотят, а им сдуру-то и верят. И в другой раз то же сделаю, коли векселя не возьмет*». – Вы видите, что здесь идет самая обыкновенная игра: кто лучше играет, тот и остается в выигрыше.

Но Пузатов сам не любит собственно обмана, обмана без нужды, без надежды на выгоду; не любит, между прочим, и потому, что в таком обмане выражается не солидный ум, занятый существенными интересами, а просто легкомыслие, лишенное всякой основа-

тельности. Ширялова же, у которого плутовство переходит всякие границы, он не одобряет больше потому, что уж тот ни войны, ни мира не разбирает, – то во время перемирия стрелять начнет, то даже по своим ударит. «Это, – говорит Пузатов, – словно жид какой: отца родного обманет. Право. Так вот в глаза и смотрит всякому. А ведь святошей прикидывается». Впрочем, и неодобрение Пузатова нельзя в этом случае принимать серьезно: в самую минуту его брани на Ширялова купец этот является к Антипу Антипычу в гости. Антип Антипыч не только очень любезно принимает его, не только внимательно слушает его рассказы о кутеже сына Сеньки, вынуждающем старика самого жениться, и о собственных плутовских штуках Ширялова, но в заключение еще сватает за него сестру свою, и тут же, без согласия и без ведома Марьи Антиповны, окончательно слаживает дело. Что его побудило к этому? Ответ высказывается в нескольких словах, произносимых им по уходе Ширялова. «Экой вор мужик-то», – сам с собою рассуждает Пузатов, подмигивая глазом: «Тонкая bestия! Ведь каким лазарем прики-

нется! Вишь ты, Сенька виноват!.. А уж что, брат, толковать: просто на старости блажь пришла... Что ж, мы с нашим удовольствием! Ничего, можно-с!.. *Только, Парамон Феранонтыч, насчет приданого-то кто кого обманет, – дело темное-с. Мы тоже с матушкой на свою руку охулки не положим*»... Дело, стало быть, очень просто: представилась возможность выгодно сбыть сестру, – как же не воспользоваться случаем? Для сестры же тут доброе дело выходит: все-таки будет пристроена!..

Таковы люди, таковы людские отношения, представляющиеся нам в «Семейной картине», первом, по времени, произведении Островского. В нем уже находятся задатки многого, что полнее и ярче раскрылось в последующих комедиях. По крайней мере видно, что уже и в это время автор был поражен тем неприязненным и мрачным характером, каким у нас большею частью отличаются отношения самых близких между собою людей. Здесь же намечены отчасти и причины этой мрачности и враждебности: бессмысленное самодурство одних и робкая уклончивость,

бездеятельность других. Тут же чрезвычайно ярко и рельефно выставлены и последствия такого неестественного порядка вещей – всеобщий обман и мошенничество и в семейных и в общественных делах.

В «Своих людях» мы видим опять ту же религию лицемерства и мошенничества, то же бессмыслие и самодурство одних и ту же обманчивую покорность, рабскую хитрость других, но только в большем разветвлении. Здесь нам представляется несколько степеней угнетения, указывается некоторая система в распределении самодурства, дается очерк его истории. Самый главный самодур, деспот всех к нему близких, не знающих себе никакого *удержу*, есть Самсон Силыч Большов. И какой же страх он внушает всему дому! Аграфена Кондратьевна, жена его, грозит своей взрослой дочери, что «отцу пожалуется»; а та отвечает: «Вас на то бог и создал, чтобы жаловаться; сами-то вы не очень для меня значительны». На вторичную угрозу она огрызается еще резче: «Только и ладит, что отца да отца; бойки вы при нем разговаривать-то, а попробуйте-ка сами!», Видно, что

Самсон Силыч и для жены и для дочери представляется чем-то вроде пугалы, и они обе хотя и страшат им друг друга, но составляют против него глухую, затаенную, само собою образовавшуюся оппозицию. Аграфена Кондратьевна, по своей крайней недалекости, не может сама привести в ясность своих чувств и только охами да вздохами выражает, что ей тяжело. Но Липочка очень бесцеремонно говорит: «У маменьки семь пятниц на неделе; тятенька – как не пьян, так молчит, а как пьян, так прибьет, того и гляди... Каково это терпеть образованной барышне!» Служащие в доме все насквозь пропитаны теми же мрачно-робкими чувствами: мальчик Тишка жалуется на вытрепки, получаемые им от хозяина; кухарка Фоминишна имеет следующий разговор с Устиньей Наумовной, свахой, приискивающей жениха Липочке, дочери Большова:

*УСТИНЬЯ НАУМОВНА. Садись, Фоминишна, – ноги-то старые, ломаные.
ФОМИНИШНА. И, мать! Некогда. Ведь какой грех-то: сам-то что-то из городу не едет, все под страхом ходим; то-*

го и гляди пьяный придет. А уж какой благой-то, господи! зародится же ведь этакой озорник!

УСТИНЬЯ НАУМОВНА. Известное дело: с богатым мужиком, что с чертом, не скоро сообразишь.

ФОМИНИШНА. Уж мы от него страсти-то видели. Вот на прошлой неделе ночью пьяный приехал: развоевался так, что на-поди. Страсти, да и только! Посуду колотит... «У! – говорит, – такие вы и такие, убью сразу».

И действительно, Самсон Силыч держит всех, можно сказать, в страхе божием. Когда он показывается, все смотрят ему в глаза и с трепетом стараются угадать, – что, каков он? Вот небольшая сцена, из которой видно, какой трепет от него распространяется по всему дому. В комнату вбегает Фоминишна и кричит:

ФОМИНИШНА. Самсон Силыч приехал, да никак хмельной!

ТИШКА. Фю! попались!

ФОМИНИШНА. Беги, Тишка, за Лазарем; голубчик, беги скорей!..

АГРАФЕНА КОНДРАТЬЕВНА (показыва-

ется на лестнице). *Что, Фоминишна, матушка, куда он идет-то?*

ФОМИНИШНА. Да никак, матушка, сюда! Ох, запру я двери-то, ей-богу, запру; пускай его кверху идет, а уж ты, голубушка, здесь посиди.

И, к довершению всего, оказывается ведь, что Самсон Силыч вовсе и не пьян; это так только показалось Фоминишне. Но замечательно, как смешивает все понятия, уничтожает все различия этот над всеми без разбора тяготеющий деспотизм: мать, дочь, кухарка, хозяйка, мальчишка слуга, приказчик – все это в трудную минуту сливается в одно – в угнетенную партию, заботящуюся о своей защите. Фоминишна, которая в другое время бьет Тишку и помыкает им, упрашивает его и называет голубчиком; Аграфена Кондратьевна с жалобным видом обращается к своей кухарке с вопросом: «Что, Фоминишна, матушка»... Фоминишна смотрит на нее с состраданием. и готовится оказать ей покровительство запором дверей... Только приказчик Лазарь Подхалюзин, связанный каким-то темным неусловленным союзом с своим хозяи-

ном и готовящийся сам быть маленьким деспотом, стоит несколько в стороне от этого страха, разделяемого всяким, кто вступает в дом Большова. В Подхалюзине нам является другая, низшая инстанция самодурства, подавленного до сих пор под тяжелым гнетом, но уже начинающего поднимать свою голову... Рассуждая с Подхалюзиным, сваха говорит ему: «Ведь ты сам знаешь, каково у нас чадочко Самсон-то Силыч; ведь он, не ровен час, и чепчик помнет». А Подхалюзин самоуверенно отвечает: «Ничего не помнет-с». В ответе Тишке, который грозит пожаловаться хозяину на подзатыльники Лазаря, он еще решительнее: «Хозяину скажу! Что мне твой хозяин! Я, коли на то пошло...» – начинает он, но не договаривает. Видно, что и он таки не забыл еще, каково чадочко Самсон Силыч. Впрочем, и Подхалюзин так куражится уже тогда, когда в его руках вся механика, подведенная Вольтовым для объявления себя банкротом. Он чувствует себя в положении человека, успевшего толкнуть своего тюремщика за ту дверь, из-за которой сам успел выско-чить. Но у тюремщика остались ключи от во-

рот острога: надо их еще вытребовать, и потому Подхалюзин, чувствуя себя уже не в тюрьме, но зная, что он еще и не совсем на свободе, беспрестанно переходит от самодовольной радости к беспокойству и мешает наглость с раболепством. Он уже получил дом и лавки Большова; нужно ему окончательно овладеть имением старика, да еще и жениться на его дочери, которая пришлась ему очень по нраву. Успех своих надежд Подхалюзин основывает именно на самодурстве Большова. Не употребляя долгих исканий и не делая особенно злостных планов, он только подбивает сваху отговорить прежнего жениха Липочки, из благородных, а сам подделывается к Большову раболепным тоном и выражением своего участия к нему. Предварительные соображения его очень нехитры. Он говорит сам себе: «А зная-то характер Самсона Силыча, каков он есть, это и очень может случиться. У них такое заведение: коли им что попало в голову, уж ничем не выбьешь оттедова. Все равно как в четвертом году захотели бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали, — нет, гово-

рит, после опять отпущу, а теперь поставлю на своем: взяли да и обрили. Так вот и это дело: потрафь я по ним, или так взойди им в голову – завтра же под венец, и баста, и разговаривать не смей». Ясно, что тут весь расчет очень немногосложен; весь он бьет на деспотический характер Большова. Тут, разумеется, хитрости особенной и не может быть, потому что и всякому дураку закон не писан, а самодуру – и подавно, следовательно с ним ничего *не сообразишь*, по выражению Устиньи Наумовны. Подхалюзин так и знает, что он идет на авось. «Потрафь, – говорит, – я по ним, *или так взойди им в голову*» – оба шанса равно вероятны и равно невероятны. А что касается до *потрафленья*, так тут опять немного нужно соображенья: ври о своей покорности, благодарности, о счастье служить такому человеку, о своем ничтожестве перед ним! – больше ничего и не нужно для того, чтобы ублажить глупого мужика деспотического характера. Из всех родов житейской дипломатики – это самый низший, это не более, как расчет первого следующего хода в шахматной игре. Большов поддается на эту

нехитрую штуку, потому что своевольные привычки давно уже отняли в нем всякую сообразительность, лишили всякой возможности смотреть на вещи прямо и здраво. Себя самого он ставит единственным законом и средоточием всего, до чего только достигает его деятельность. В своем семействе это он выражает с цинической грубостью. О дочери он говорит: «Мое детище: хочу – с кашей ем, хочу – масло пахтаю». Оттого и выдача ее, против воли, замуж за Подхалюзина представляется ему не более как занимательным опытом. «А вот ты заходи-ка ужо к невесте, – говорит он Лазарю, – мы над ними *шутку подшутим*». Шутка эта состоит в том, что он внезапно объявляет жене и дочери, что Лазарь – жених Липочки. Все растерялись: и мать, и сваха, и Фомишишна, и сама невеста, которая, впрочем, как *образованная*, нашла в себе силы выразить решительное сопротивление и закричать: «Не хочу, не хочу, не пойду я за такого противного». Разумеется, из этого сопротивления ничего не может выйти: Самсона Сильча не уломаешь. А тут еще Подхалюзин поджигает его, коварно говоря: «Видно, тя-

тенька, не бывать-с по вашему желанию». Этих слов достаточно, чтоб Большов насильно соединил руки жениха и невесты и возразил таким манером: «Как же не бывать, коли я того хочу? *На что ж я и отец, коли не приказывать?* Даром, что ли, я ее кормил»? Как видите, Большов из отцовских обязанностей признает только одну: давать приказания детям. А что он кормил дочь, так это уж благодеяние, за которое она должна ему отплатить полным отречением от своей воли. Точно таков же он и во всей своей деятельности. Он сам замечает, например, что Подхалюзин мошенник; но ему до этого дела нет, потому что Подхалюзин его приказчик и об его пользе старается. Без малейшей застенчивости он упрекает его в неблагодарности, указывая на такие факты: «Вспомни то, Лазарь, сколько раз я замечал, что ты на руку не чист: что ж? Я ведь не прогнал тебя, не ославил тебя на весь город. Я тебя сделал главным приказчиком, тебе я все свое состояние отдал, да тебе же, Лазарь, я отдал и дочь-то своими руками». И все это в той надежде, что Лазарь будет славно мошенничать и наживать деньги от

всех, кроме, разумеется, самого Большова. То же самое и с Рисположенским, пьяным приказным, занимающимся кляузами и делающим кое-что по делам Большова: Самсон Силыч подсмеивается над тем, как его из суда выгнали, и очень сурово решает, что его надобно бы в Камчатку сослать. На вопрос Рисположенского: «За что же в Камчатку?» Большов отрезывает: «За что! За безобразии! Так неужели ж вам потакать?» Но такой строгий взгляд на деятельность выгнанного из службы чиновника нисколько не мешает Самсону Силычу требовать его услуг в деле замышленного им злостного банкротства. Большов как будто считает себя совершенно вне тех нравственных правил, которые признает обязательными для других. Это странное явление (столь частое, однако же, в нашем обществе), происходит оттого, что Большов не понимает истинных начал общественного союза, не признает круговой поруки прав и обязанностей человека в отношении и другим и, подобно Пузатову, смотрит на общество, как на вражеский стан. «Мне бы самому как-нибудь лучше устроиться; а там, кто от кого

пострадает или прибыль получит, мне до этого дела нет; коли пострадает, так сам виноват: оплошал, стало быть». На таких, соображениях держатся все думы Большова, такими соображениями был он подвигнут и на то, чтобы объявить себя несостоятельным. Островского упрекали в том, что он не довольно полно и ясно выразил в своей комедии, каким образом, вследствие каких особенных влияний, в какой последовательности и в каком соответствии с общими чертами характера Большова явилось в нем намерение объявить себя банкротом. «Злостное банкротство, – говорили критики, – есть такое преступление, которое ужаснее простого обмана, воровства и убийства. Оно соединяет в себе эти три рода преступлений; но оно еще ужаснее потому, что совершается обдуманно, готовится очень долго, требует много коварного терпения и самого нахального присутствия духа. Решиться на такое преступление может человек только при ложных убеждениях или вследствие каких-нибудь особенно неблагоприятных нравственных влияний. У Островского не только ничего этого не пока-

зано, но даже выставлено банкротство Большова просто как прихоть, состоящая в том, что ему *не хочется платить денег*»{30}. Все подобные соображения, будучи вполне верны в теоретическом отношении, оказываются, однако же, совершенно неприложимыми к русской жизни. В том-то и дело, что наша жизнь вовсе не способствует выработке каких-нибудь убеждений, а если у кого они и заведутся, то не дает применять их. Одно только убеждение процветает в нашем обществе – это убеждение в том, что не нужно иметь (или по крайней мере обнаруживать) нравственных убеждений. Но такое-то убеждение и у Самсона Силыча есть, хотя оно и не совершенно ясно в его сознании: вследствие этого-то убеждения он и ласкает Лазаря, и ведет дело с Рисположенским, и решается на объявление себя несостоятельным. Вообще надобно сказать, что только с помощью этого убеждения и поддерживается некоторая жизнь в нашем «темном царстве»: через него здесь и карьеры делаются, и выгодные партии составляются, и капиталы наживаются, и общее уважение приобретается. Не будь развито это

единственное убеждение в «темном царстве», в нем все бы остановилось, заснуло и замерло. Конечно, и люди с *твердыми* нравственными принципами, с *честными* и *святыми* убеждениями тоже есть в этом царстве; но, к сожалению, это все люди обломовского типа. Они и убеждения-то свои приобрели не в практической деятельности, не в борьбе с житейской неправдой, а в чтении хороших книжек, горячих разговорах с друзьями, восторженных клятвах пред женщинами да в благородных мечтаниях на своем диване. Удалось людям не быть втянутыми с малолетства в практическую деятельность, – и осталось им много свободного времени на обдумыванье своих отношений к миру и нравственных начал для своих поступков! Стоя в стороне от практической сферы, додумались они до прекрасных вещей; но зато так и остались негодными для настоящего дела и оказались совершенно ничтожными, когда пришлось им столкнуться кое с чем и с кое кем в «темном царстве». Сначала их было и побаивались, когда они являлись с лорнетом Онегина, в мрачном плаще Печорина, с восторженной речью

Рудина; но потом поняли, что это все Обломовы и что если они могут быть страшны для некоторых барышень, то, во всяком случае, для практических деятелей никак не могут быть опасны. Так они и остались вне жизни, эти люди честных стремлений и самостоятельных убеждений (нередко, впрочем, на деле изменявшие им вследствие своей непрактичности). И если нельзя сказать, чтобы они остались чисты, как голуби, в своих столкновениях с окружавшими их хищными птицами, то по крайней мере можно сказать утвердительно, что они оказались бессильны, как голуби^{31}. Что же касается до тех из обитателей «темного царства», которые имели силу и привычку к делу, так они все с самого первого шага вступали на такую дорожку, которая никак уж не могла привести к чистым нравственным убеждениям. Работающему человеку никогда здесь не было мирной, свободной и общепользуемой деятельности; едва успевши осмотреться, он уже чувствовал, что очутился каким-то образом в неприятельском стане и должен, для спасения своего существования, как-нибудь надуть своих врагов, прикинув-

шись хоть добровольным переметчиком. А там начинаются хитрости, как бы обмануть бдительность неприятелей и спастись от них; а ежели и это удастся, придумываются неприязненные действия против них, частью в отмщение, частью же для ограждения себя от новой опасности. Где же тут развиться правильным понятиям об отношениях людей друг ко другу? Где тут воспитаться уважению человеческого достоинства? Здесь все в ответе за какую-то чужую несправедливость, все делают мне пакости за то, в чем я вовсе не виноват, и от всех я должен отбиваться, даже вовсе не имея желания побить кого-нибудь. Поневоле человек делается неразборчив и начинает бить кого попало, не теряя даже сознания, что, в сущности-то, никого бы не следовало бить. Невольно повторишь опять сравнение жизни «темного царства» с ожесточенною войною. На войне ведь не беда, если солдат убьет такого неприятеля, который ни одного выстрела не послал в наш стан: он подвернулся под пулю – и довольно. Солдата-убийцу не будет совесть мучить. Так точно, что за беда, если купец обманул честнейшего

человека, который никому в жизни ни малейшего зла не сделал. Довольно того, что он покупает товар; и торговля все равно что война: не обмануть – не продать!.. Приложите то же самое к помещику, к чиновнику «темного царства», к кому хотите, – выйдет все то же: все в военном положении, и никого совесть не мучит за обман и присвоение чужого оттого именно, что ни у кого нет нравственных убеждений, а все живут сообразно с обстоятельствами.

Таким образом, мы находим глубоко верную, характеристически русскую черту в том, что Большов в своем злостном банкротстве не следует никаким особенным *убеждениям* и не испытывает *глубокой душевной борьбы*, кроме страха, как бы не попасться под уголовный... Нам в отвлечении кажутся все преступления чем-то слишком ужасным и необычайным; но в частных случаях они большею частью совершаются очень легко и объясняются чрезвычайно просто. По уголовному суду человек оказался и грабителем и убийцею; кажется, должен бы быть изверг естества. А посмотришь, – он вовсе не изверг, а человек

очень обыкновенный и даже добродушный. И никаких у него убеждений нет о похвальности грабежа и убийства, и преступления свои совершил он без тяжкой и продолжительной борьбы с самим собой, а просто так, случайно, сам хорошенько не сознавал, что он делал. Поговорите с людьми, выдавшими много преступников; они вам подтвердят, что это сплошь да рядом так бывает. Отчего происходит такое явление? Оттого, что всякое преступление есть не следствие природы человека, а следствие ненормального отношения, в какое он поставлен к обществу. И чем эта ненормальность сильнее, тем чаще совершаются преступления даже натурами порядочными, тем менее обдуманности и систематичности и более случайности, почти бессознательности, в преступлении. В «темном царстве», рассматриваемом нами, ненормальность общественных отношений доходит до высших своих пределов, и потому очень понятно, что его обитатели теряют решительно всякий смысл в нравственных вопросах. В преступлении они понимают только внешнюю, юридическую его сторону, которую

справедливо презирают, если могут как-нибудь обойти. Внутренняя же сторона, последствия совершаемого преступления для других людей и для общества – вовсе им не представляются. Замышляя злостное банкротство, Большов и не думает о том, что может повредить благосостоянию заимодавцев и, может быть, пустит несколько человек по миру. Это ему не приходит в голову даже и тогда, как уж его в яму посадили. Он толкует, что ему страшно на Иверскую взглянуть, проходя мимо Иверских ворот, жалуется, что на него мальчишки пальцами показывают, боится, что в Сибирь его сошлют; но о людях, разоренных им, – ни слова. Мудрено ли же, что он так легко решается на преступление, которого существеннейшая-то мерзость ему и непонятна! Он видит только, что *«другие же делают»*. И это для него не оправдательная фраза, не пример только, как утверждал один строгий критик Островского. Нет, тут исходная точка, из которой выводится вся мораль Большова. Он видит, что другие банкротятся, зажиливают его деньги, а потом строят себе на них дома с бельведерами да заводят удивитель-

тельные экипажи: у него сейчас и прилагается здесь общее соображение: «Чтобы меня не обыграли, так я должен стараться других обыграть». И уж тут нужды нет, что кредиторы Большова не банкротились и не делали ему подрыва: все равно, с кого бы ни пришлось, только бы сорвать свою выгоду. Тут, как и в сражении, разбирать личности нечего. Вот кабы никто не обманывал, т. е. кабы войны не было, тогда и Самсон Силыч жил бы мирно и честно, никого не надувал. А то как же ему-то вести себя, когда все кругом мошенничают? И кому какая будет польза от его честности? Не он, так другие надуют, все единственно. Вот разговор Большова с Подхлюзиным на этот счет:

БОЛЬШОВ. Вот ты бы, Лазарь, когда на досуге баланц для меня сделал, учел бы розничную по панской-то части, ну, и остальное, что там еще. А то торгуем, торгуем, братец, а пользы ни на грош. Али сидельцы, что ли, грешат, таскают родным да любовницам; их бы маленечко усовецивать. Что так, без барыша-то, небо коптить? Аль сноровки не знают? Пора бы, кажется.

ПОДХАЛЮЗИН. Как же это можно, Самсон Силыч, чтобы сноровки не знать? Кажется, сам завсегда в городе бываешь и завсегда толкуешь им-с.

БОЛЬШОВ. Да что же ты толкуешь-то?

ПОДХАЛЮЗИН. Известное дело-с, стараюсь, чтобы все было в порядке и как следует-с. Вы, говорю, ребята, не зевайте: видишь, чуть дело подходящее: покупатель, что ли, тумак навернулся, али цвет с узором какой барышне понравился, – взял, говорю, да и накинул рубль али два на аршин.

БОЛЬШОВ. Чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают. Положим, что мы – не немцы, а христиане православные, да тоже пироги-то с начинкой едим. Так ли, а?

ПОДХАЛЮЗИН. Дело понятное-с. И мерять-то, говорю, надо тоже поестественнее, тяни да потягивай, только чтоб, боже сохрани, как не лопнуло; ведь не нам, говорю, после носить. Ну, а зазеваются, так никто не виноват, – можно, говорю, и просто через руку лишний аршин шмыгнуть.

БОЛЬШОВ. Все единственно: ведь порт-

ной украдет же. Эх, Лазарь, плохи нонче барыши: не прежние времена.

Ясное дело: вся мораль Самсона Силыча основана на правиле: чем другим красть, так лучше я украду. Правило это, может быть, не имеет драматического интереса, – это уж как там угодно критикам; но оно имеет чрезвычайно обширное приложение во многих сферах нашей жизни. По этому правилу иной берет взятку и кривит душой, думая: все равно, – не я, так другой возьмет, и тоже решит криво. Другой держит свои помещичьи права, рассчитывая: все равно, – ведь если не мой управляющий, то окружной станет стеснять моих крестьян. Иной подличает перед начальником, соображая: все равно, – ведь если не меня, так он другого найдет для себя, а я только места лишусь. Словом – куда ни обернитесь, везде вы встретите людей, действующих по этому правилу: тот принимает у себя негодяя, другой обирает богатого простяка, третий сочиняет донос, четвертый соблазняет девушку, – все на основании того же милого соображения: «не я, так другой». Кажется ясно, что здесь такое соображение совсем не

имеет значения примера... Оно есть не что иное, как выражение самого грубого и отвратительного эгоизма, при совершенном отсутствии каких-нибудь высших нравственных начал.

Следуя внушениям этого эгоизма, и Болохов задумывает свое банкротство. И его эгоизм еще имеет для себя извинение в этом случае: он не только видел, как другие наживаются банкротством, но и сам потерпел некоторое расстройство в делах, именно от несостоятельности многих должников своих. Он с горечью говорит об этом Подхалюзину:

Вот ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что! Так вот даром и бери деньги. Как не деньги, скажет, – видал, как лягушки прыгают. На-ка, говорит, вексель. А по векслю-то с иного что возьмешь, коли с него взять-то нечего! У меня таких-то векселей тысяч на сто, и с протестами, только и дела, что каждый год подкладывай. Хошь за полтину серебра все отдам! Должников-то по ним, чай, и с собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбе-

жались, – некого и в яму посадить. А и посадишь-то, Лазарь, так сам не рад: другой так обдержится, что его оттедова куревом не выкуришь. Мне, говорит, и здесь хорошо, а ты проваливай.

Огражденный такими рассуждениями, Большов считает себя совершенно вправе сыграть с кредиторами маленькую штуку. Сначала в нем является только неопределенное желание – увернуться как-нибудь от платежа денег, – их же пришлось много платить в одно время. Он придумывает только, «какую бы тут механику подсмолить»; но этого ни он сам, ни его советник Рисположенский не знают еще хорошенько. На вопрос Большова Рисположенский отвечает: «...а там, глядя по обстоятельствам». Но тут же они придумывают – заставить кредиторов пойти на сделку, – предложить всем 25 коп. за рубль, если же кто заартачится, так прибавить, а то, пожалуй, и все заплатить. Большов говорит: «Это точно, – поторговаться не мешает: не возьмут по двадцати пяти, так полтину возьмут; а если полтины не возьмут, так за семь

гривен обеими руками ухватятся. Все-таки барыш. Там что хошь говори, а у меня дочь невеста, хоть сейчас из полы в полу да с двора долой. Да и самому-то, братец мы мой, отдохнуть пора: прохлаждались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту к черту». Вы видите, что решение Большова очень добродушно и вовсе не обнаруживает сильной злодейской натуры: он хочет кое-что, по силе возможности, вытянуть из кредиторов в тех видах, что у него дочь невеста, да и самому ему покой нужен... Что же тут особенно ужасного, отчего бы Большов должен был необычайное волнение душевное испытывать? Он смотрит на свой новый замысел, как на один из тех обманов, которых немало довелось ему совершить на своем веку и которые для него находятся решительно в порядке вещей. Его одно только и смущает несколько – то, что ему, пожалуй, не удастся чистенько обделать свою операцию. Этого он отчасти трусит и потому все хочет устроить с кредиторами сделку, заплативши им по двадцати пяти копеек. Но Подхалюзин говорит ему: «А уж по мне, Самсон Силыч, коли платить по двадцати пяти, так

пристойнее совсем не платить», – и Большов, без всяких возражений, очень легко соглашается. «А что, – говорит он, – ведь и правда, храбростью-то никого не удивишь, – а лучше тихим-то манером дельце обделать. Там, после, суди владыко на втором пришествии.хлопот-то только куча». И ни слова, ни намёка на безнравственность задуманного дела в отношении к заимодавцам Большова. Только о «суде владычнем» вспоминает он; но и это так, больше для формы: «второе пришествие» играет здесь роль не более той, какую даёт Большов и «милосердию божию» в известной фразе своей: «Бонапарт Бонапартом, а мы пуще всего надеемся на милосердие божие, да и не о том теперь речь». Именно, – не о том теперь речь: Большова занимаем не суд на втором пришествии, который ещё когда-то будет, а предстоящие хлопоты по делу. Хлопоты эти очень смущают его: они вовсе не в его натуре. Надуть разом, с рывка, хотя бы и самым бессовестным образом, – это ему ничего; но, думать, соображать, подготавливать обман долгое время, *подводит всю эту механику* – на такую хроническую бессовестность его не ста-

нет, и не станет вовсе не потому, чтобы в нем мало было бессовестности и лукавства, – то и другое находится в нем с избытком, – а просто потому, что он не привык серьезно думать о чем-нибудь. Он сам это сознает и в горькую минуту даже высказывает Рисположенскому: «То-то вот и беда, что наш брат, купец, дурак, – ничего он не понимает, а таким пиявкам, как ты, это и на руку». Можно сказать даже, что и все самодурство Большова происходит от непривычки к самобытной и сознательной деятельности, к которой, однако же, он имеет стремление, при несомненной силе природной сметливости. Мы не видим из комедии, как рос и воспитывался Большов, какие влияния на него действовали смолоду; но для нас ясно, что он воспитывался под влияниями, тоже не благоприятными для здорового, самостоятельного развития. В его действиях постоянно проглядывает отсутствие *своего ума*; видно, что он не привык сам разумно себя возбуждать к деятельности и давать себе отчет в своих поступках. А между тем его теперешнее положение, да и самая натура его, не сломившаяся окончательно под гнетом, а

сохранившая в себе дух противоречия, требует теперь самобытности, которая и выражается в упрямстве и произволе. Известно, что упрямство есть признак бесхарактерности; точно так и самодурство есть верное доказательство внутреннего бессилия и холопства. Самодур все силится *доказать*, что ему никто не указ и что он – что захочет, то и сделает; между тем человек действительно независимый и сильный душою никогда не захочет этого доказывать: он употребляет силу своего характера только там, где это нужно, не растрачивая ее, в виде опыта, на нелепые затеи. Большов с услаждением всё повторяет, что он волен делать, что хочет, и никто ему не указ: как будто он сам все еще не решается верить этому... Видно, что его, может быть, от природы и не слабую личность сильно подавили в свое время и отняли-таки у него значительную долю природной силы души. Оттого, и вышедши на свою волю, он не умеет управлять собою. Он самодурствует и кажется страшен, но это только потому, что ни с какой стороны ему нет отпора; борьбы он не выдержит... Эта черта очень ясно представлена Ост-

ровским в другой его комедии, а потому мы еще возвратимся к ней. Но она заметна и в Большове, который, даже решаясь на такой шаг, как злостное банкротство, не только старается свалить с себя хлопоты, но просто сам не знает, что он делает, отступает от своей выгоды и даже отказывается от своей воли в этом деле, сваливая все на судьбу. Подхалюзин и Рисположенский, снюхавшись между собою, подстроивают так, что вместо сделки с кредиторами Большов решается на объявление себя несостоятельным. Но Подхалюзин для виду отговаривает его от такого поступка. Что же отвечает Большов? Он входит в азарт и говорит: «Что ж, деньги заплатить? Да с чего же ты это взял? *Да я лучше все огнем сожгу, а уж им ни копейки не дам.* Перевози товар, продавай векселя; *пусть тащут, воруют, кто хочет,* а уж я им не плательщик». Подхалюзин жалеет, что «заведение у нас было превосходное, а теперь все должно в расстройство прийти»; а Большов кричит: «А тебе что за дело? не твое было... Ты старайся только, – от меня забыт не будешь». Что обуяло его? Подумаешь, что это взрыв сильной на-

туры, что уж это такая непреклонная воля... Но, во-первых, что же возбудило в нем такую решимость, противную его собственной выгоде, и почему воля его выражается только в криках с Подхалюзиным, а не в деятельном участии в хлопотах? Во-вторых, – сам Большой вскоре отказывается от своей воли. Когда Подхалюзин толкует ему, что может случиться «грех какой», что, пожалуй, и имение отнимут, и его самого по судам затаaskaют, Большой отвечает: «Что ж делать-то, братец; уж знать, такая воля божия, против ее не пойдешь». Подхалюзин отвечает: «Это точно-с, Самсон Силыч», но, в сущности, оно не «точно», а очень нелепо. Большой не только хочет свалить с себя всякую нравственную ответственность, но даже старается не думать о том, что затевает. Принятое решение засело в его голове крепко, но как-то не связалось ни с чем в его мыслях и понятиях и осталось для него чужим и мертвым. Он даже старается уверить, что это не он, собственно, решил, а что «такова уж воля божия: против ее не пойдешь». Эта черта, чрезвычайно распространенная в нашем обществе, и у Островского

она подмечена весьма тонко и верно. Она одна говорит нам очень многое и рисует характер Большова лучше, чем могли бы обрисовать его несколько длинных монологов. Эта темнота разума, отвращение от мышления, бессилие воли пред всяким рискованным шагом, порождающая этот тупоумный, отчаянный фатализм и самодурство, противное даже личной выгоде, все это чрезвычайно рельефно выдается в Большове и очень легко объясняет отдачу им имени своему приказчику и зятю Подхалюзину – поступок, в котором иные критики хотели видеть непонятный порыв великодушия и подражание королю Лиру{32}. В поступке Большова действительно есть внешнее сходство с поступком Лира, но именно настолько, насколько может комическое явление походить на трагическое. Лир представляется нам также жертвой уродливого развития; поступок его, полный гордого сознания, что он *сам, сам по себе* велик, а не по власти, которую держит в своих руках, поступок этот тоже служит к наказанию его надменного деспотизма. Но если мы вздумаем сравнивать Лира с Большовым, то

найдем, что один из них с ног до головы король британский, а другой – русский купец; в одном все грандиозно и роскошно, в другом все хило, мелко, все рассчитано на медные деньги. В Лире действительно сильная натура, и общее раболепство пред ним только развивает ее односторонним образом – не на великие дела любви и общей пользы, а единственно на удовлетворение собственных, личных прихотей. Это совершенно понятно в человеке, который привык считать себя источником всякой радости и горя, началом и концом всякой жизни в его царстве. Тут, при внешнем просторе действий, при легкости исполнения всех желаний, не в чем высказывать его душевной силе. Но вот его самообожание выходит из всяких пределов здравого смысла: он переносит прямо на свою личность весь тот блеск, все то уважение, которым пользовался за свой сан, он решается сбросить с себя власть, уверенный, что и после того люди не перестанут трепетать его. Это безумное убеждение заставляет его отдать свое царство дочерям и чрез то, из своего варварски-бессмысленного положения,

перейти в простое звание обыкновенного человека и испытать все горести, соединенные с человеческою жизнью. Тут-то, в борьбе, начинающейся вслед за тем, и раскрываются все лучшие стороны его души; тут-то мы видим, что он доступен и великодушию, и нежности, и состраданию о несчастных, и самой гуманной справедливости. Сила его характера выражается не только в проклятиях дочерям, но и в сознании своей вины пред Корделиею, и в сожалении о своем крутом нраве, и в раскаянии, что он так мало думал о несчастных бедняках, так мало любил истинную честность. Оттого-то Лир и имеет такое глубокое значение. Смотря на него, мы сначала чувствуем ненависть к этому беспутному деспоту; но, следя за развитием драмы, все более примиряемся с ним как с человеком и оканчиваем тем, что исполняем негодованием и жгучею злобой уже *не к нему, а за него* и за целый мир – к тому дикому, нечеловеческому положению, которое может доводить до такого беспутства даже людей, подобных Лиру. Не знаем, как на других, но по крайней мере на нас «Король Лир» постоянно производил та-

кое впечатление.

В одной из критик уверяли, что и Островский хотел своего Большова возвысить до подобного же трагизма и, собственно, для этого вывел Самсона Силыча из ямы, в четвертом акте, и заставил его упрашивать дочь и зятя об уплате за него 25 копеек кредиторам. Такое суждение обнаруживает полное непонимание не только Шекспира и Островского, но и вообще нравственного свойства драматических положений. По нашему мнению, в последнем акте Большов нисколько не возвышается в глазах читателя и нисколько не теряет своего комического характера. В последних сценах есть трагический элемент, но он участвует здесь чисто внешним образом, так, как есть он, напр., и в появлении жандарма в «Ревизоре»... Но в чем же здесь выразился тот внутренний трагизм, который заставил бы страдать за Большова и примирил бы с его личностью? Где следы той душевной борьбы, которая бы очистила и просветлила заросшую тиной самодурства натуру Большова? Нет этих следов, да и не с тем писана комедия, чтобы указать их; последний акт ее мы

считаем только последним мастерским штрихом, окончательно рисующим для нас натуру Большова, которая была остановлена в своем естественном росте враждебными подавляющими обстоятельствами и осталась равнобессильною и ничтожною как при обстоятельствах, благоприятствовавших широкой и самобытной деятельности, так и в напасти, опять ее скрутившей. Для вас и в последнем акте Большов не перестает быть комичен: ни одного светлого луча не проникло в эту темную душу после переворота, навлеченного им самим на себя. Он нимало не сознает гадости своего поступка, он не мучится внутренним стыдом; его терзает только стыд внешний; кредиторы таскают его по судам, и мальчишки на него показывают пальцами. «Каково сидеть-то в яме (говорит он), каково по улице-то идти с солдатом! Ведь меня сорок лет в городе-то все знают, сорок лет все в пояс кланялись, а теперь мальчишки пальцами показывают». Вот что у него на первом плане; а на втором является в его мыслях Иверская, но и то ненадолго: воспоминание о ней тотчас сменяется у него опасением, чтобы в Сибирь

не угодить. Вот его слова: «А там, мимо Иверской: как мне взглянуть на нее, матушку? Знаешь, Лазарь: Иуда, ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем... *А что ему за это было?.. Ведь я злостный, умышленный... Ведь меня в Сибирь сошлют. Господи! Коли так не дадите денег, дайте Христа ради* (плачет)» – Жаль, что «Своих людей» не дают на театре: талантливый актер мог бы о поразительной силой выставить весь комизм этого самодурного смещения Иверской с Иудою, ссылки в Сибирь с христарадничеством... Комизм этой тирады возвышается еще более предыдущим и дальнейшим разговором, в котором Подхалюзин равнодушно и ласково отказывается платить за Большова более десяти копеек, а Большов – то попрекает его неблагодарностью, то грозит ему Сибирью, напоминая, что им обоим один конец, то спрашивает его и дочь, есть ли в них христианство, то выражает досаду на себя за то, что опростоволосился, и приводит пословицу: «Сама себя раба бьет, коль ее чисто жнет», – то, наконец, делает юродивое обращение к дочери: «Ну, вот вы теперь будете

богаты, заживете по-барски; по гуляньям это, по балам, – дьявола тешить! А не забудьте вы, Олимпиада Самсоновна, что есть клетки с железными решетками, сидят там бедные заключенные... Не забудьте нас, бедных – заключенных». По нашему мнению, вся эта сцена очень близко подходит к той сцене в «Ревизоре», где городничий ругает купцов, что они не помнят, как он им плутовать помогал. Только у Островского комические черты проведены здесь несколько тоньше, и притом надо сознаться, что внутренний комизм личности Большова несколько замаскировывается в последнем акте несчастным его положением, из-за которого проницательные критики и навязали Островскому такие идеи и цели, каких он, вероятно, никогда и во сне не видел. Хороши должны быть нравственные понятия критика, который полагает, что Большов в последнем акте выведен автором для того, чтобы привлечь к нему *сочувствие* зрителей... По нашему мнению, Большов к концу пьесы оказывается пошлее и ничтожнее, нежели во все ее продолжение. Мы видим, что даже несчастье и заключение в тюрьму

нимало не образумило его, не пробудило человеческих чувств, и справедливо заключаем, что, видно, они уж навек в нем замерли, что так им уж и спать сном непробудным. Он и теперь говорит, что 25 копеек отдать кредиторам – много, да что уж делать-то, когда меньше не берут. «Потомят года полтора в яме-то, да каждую неделю будут с солдатом по улицам водить, а еще, того гляди, в острог переместят, так рад будешь и полтину дать». Не явно ли здесь комическое бессилие этой натуры, не могущей ни решиться на смелый шаг, ни выдержать продолжительной борьбы? Не явно ли и нравственное ничтожество этого человека, у которого ни разу во всей пьесе не проявлялось чувство законности и сознания долга? Мало этого: в его грубой душе замерли даже чувства отца и мужа; это мы видели и в первых актах пьесы, видим и в последнем. Горе жены ни мало не трогает его, а возмутительная грубость дочери не оскорбляет отцовского чувства. Олимпиада Самсоновна говорит ему: «Я у вас, тятенька, до двадцати лет жила, – свету не видала, что же, мне прикажете отдать вам деньги, а самой опять в ситце-

вых платьях ходить?» Большов не находит ничего лучшего сказать на это, как только попрекнуть дочь и зятя невольным благодеянием, которое он им сделал, передавши в их руки свое имение. «Ведь я, – говорит, – у вас не милостыню прошу, а свое же добро». Неужели и это отношение отца к дочери не комично? А мораль, которую выводит для себя Большов из всей своей истории, – высший пункт, до которого мог он подняться в своем нравственном развитии: «Не гонись за большим, будь доволен тем, что есть; а за большим погонишься, и последнее отнимут!» Какую степень нравственного достоинства указывают нам эти слова! Человек, потерпевший от собственного злостного банкротства, не находит в этом обстоятельстве другого нравственного урока, кроме сентенции, что «не нужно гнаться за большим, чтобы своего не потерять!» И через минуту к этой сентенции он прибавляет сожаление, что не умел ловко обделать дельце, приводит пословицу: «Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет». Как сильно выражается в этом решительная бессмысленность и нравственное ничтожество этой натуры, ко-

торая в начале пьесы могла еще кому-нибудь показаться сильною, судя по тому страху, какой она внушает всем окружающим!.. И нашлись критики, решившие, что последний акт «Своих людей» должен возбудить в зрителях сочувствие к Большову![12]

Но что же в самом деле дает нам это лица комедии? Неужели смысл его ограничивается тем, что «вот, дескать, посмотрите, какие бывают плохие люди?» Нет, это было бы слишком мало для главного лица серьезной комедии, слишком мало для таланта такого писателя, как Островский. Нравственный смысл впечатления, какое выносишь из внимательного рассмотрения характера Большова, гораздо глубже. Мы уже имели случай заметить, что одна из отличительных черт таланта Островского состоит в умении заглянуть в самую глубь души человека и подметить не только образ его мыслей и поведения, но самый процесс его мышления, самое зарождение его желаний. Это самое умение видим мы и в обработке характера Большова и находим, что результатом психических наблюдений автора оказалось чрезвычайно гуманное воз-

зрение на самые, по-видимому, мрачные явления жизни и глубокое чувство уважения к нравственному достоинству человеческой натуры, – чувство, которое сообщает он и своим читателям. В Большове, этом *злом* банкроте, мы не видим ничего злого, чудовищного, ничего такого, да что его следовало бы считать извергом. Автор сводит нас с официальной юридической точки зрения и вводит в самую сущность совершающегося факта, заставляет бесчестный замысел создаваться и расти даред нашими глазами. И что же мы видим в истории этого замысла, столь ужасного в юридическом смысле? Ни тени сатанинской злобы, ни признака иезуитского коварства! Все так просто, добродушно, глупо! Самсон Силыч – вовсе не порождение ада, а просто грубое животное, в котором смолоду заглушены все симпатические стороны натуры и не развиты никакие нравственные понятия. В его характере нет того, что называют личной инициативой или свободным возбуждением себя к деятельности; он живет так, как живется, не рассчитывая и не загадывая много. Самодурствует он потому, что встреча-

ет в окружающих не твердый отпор, а постоянную покорность; надувает и притесняет других потому, что чувствует только, как это ему удобно, но не в состоянии почувствовать, как тяжело это им; на банкротство решается он опять потому, что не имеет ни малейшего представления об общественном значении такого поступка. Самый закон является для него не представителем высшей правды, а только внешним препятствием, камнем, который нужно убрать с дороги. Самая совесть является у него не во внутреннем голосе, а в насмешках прохожих, во взгляде на Иверскую, в опасении ссылки в Сибирь. Короче, – в Большове вы видите ясно, что его преступная, безобразная деятельность происходит именно оттого, что в нем не воспитан человек. Он гадок для нас именно тем, что в нем видно почти полное отсутствие человеческих элементов; и в то же время он пошел и смешон искажением и тех зачатков человечности, какие были в его натуре. Но эта самая гадость и пошлость, представленная следствием неразвитости природы, указывает нам необходимость правильного, свободного развития и

восстанавливает пред нами достоинство человеческой природы, убеждая нас, что низости и преступления не лежат в природе человека и не могут быть уделом естественного развития.

Достижению этого же результата прекрасно содействует все развитие пьесы и все остальные лица, группирующиеся около Большова. Во всей пьесе нет никаких, особенных махинаций, нет искусственного развития действия, в угоду схоластическим теориям и в ущерб действительной простоте и жизненности характеров. Все лица действуют в своем смысле добросовестно, и ни одно не впадает в тон мелодрамного героя. Достижению постыдной цели не служат здесь лучшие способности ума и благороднейшие силы души в своем высшем развитии; напротив, вся пьеса ясно показывает, что именно недостаток этого развития и доводит людей до таких мерзостей. Во всех лицах заметно одно человеческое стремление – высвободиться из самодурного гнета, под которым все выросли и живут. Большов внешним образом избавился от него; но следы воспитания, стесняющего

мысль и волю, остались и в нем на всю жизнь и сделали его бессмысленным деспотом. И до того заразителен этот нелепый порядок жизни «темного царства», что каждая, самая при-
давленная личность, как только освободится хоть немножко от чужого гнета, так и начи-
нает сама стремиться угнетать других. Эти дикие отношения проведены очень искусно по всей комедии Островского; вот почему и сказали мы, что в ней видим целую иерархию самодурства. В самом деле, Большов беспре-
кословно царит над всеми; Подхалюзин боит-
ся хозяина, но уж покрикивает на Фоминиш-
ну и бьет Тишку; Аграфена Кондратьевна, простодушная и даже глуповатая женщина, как огня боится мужа, но с Тишкой тоже рас-
правляется довольно энергически, да и на дочь прикрикивает, и если бы сила была, так непременно бы сжала ее в ежовых рукави-
цах. Посмотрите, как она расходилась, напри-
мер, во второй сцене первого акта. – «Али ты думаешь, – кричит она дочери, – что я не властна над тобою приказывать? Говори, бес-
тыжие твои глаза, с чего у тебя взгляд-то та-
кой завистливый? Что ты, притче матери хо-

чешь быть? У меня ведь недолго: я и на кухню горшки парить пошлю. Ишь ты! А! Ах ма-тушки вы мои! Посконный сарафан сошью, да вот на голову тебе и надену». Липочка огры-зается, а Аграфена Кондратьевна повторяет: «Уступи верх матери! словечко пикнешь, так язык ниже пяток пришью». Но Липочка по-черпает для себя силы душевные в сознании того, что она *образованная*, и потому мало об-ращает внимания на мать и в распрях с ней всегда остается победительницей: начнет ее попрекать, что она не так воспитана, да рас-плачется, мать-то и струсит и примется сама же ублажать обиженную дочку. Липочка яв-но обнаруживает склонность к самому гру-бому и возмутительному деспотизму. Она го-ворит матери: «Я вижу, что я других образо-ваннее; что ж мне, потакать вашим глупо-стям? как же! Есть оказия!» А с Подхалюзи-ным, при помолвке, они уговариваются: «Ста-рики почудили на своем веку, – *будет, теперь нам пора*»... Один только Тишка не обнаружи-вает еще никаких стремлений к преоблада-нию, а, напротив, служит мишенью, в кото-рую направляются самодурные замашки це-

лого дома. «У нас, – жалуется он, – коли не тот, так другой, коли не сам, так сама задаст вытрепку; а то вот приказчик Лазарь, а то вот Фоминишна, а то вот... всякая шваль над тобой командует». Следы этого командования с беспрестанными вытрепками уже обнаруживаются в Тишке: он уже выучился мошенничать и воровать.

А когда наворует денег побольше, то и сам, конечно, примется командовать так же беспутно и жестоко, как и им командовали. Его карьера очень искусно обозначена Островским в немногих словах, произносимых Тишкой в сцене, где он считает свои деньги, оставшись один... «Полтина серебром – это Лазарь дал (за то, что за водкой сходил тихонько); да намедни, как с колокольни упал, Аграфена Кондратьевна гривенник дала; да четвертак в орлянку выиграл; да третьевось хозяин забыл на прилавке целковый». Вот источники приобретения для Тишки: сбегать за водкой, упасть с колокольни, выиграть, украсть. Какое нравственное чувство разовьется в нем при такой жизни? Как он будет сочувствовать страданиям других, когда его

самого утешали гривенничками за то, что он с колокольни упал! Ясно, что и из него со временем выйдет Подхалюзин... Такова уж почва этого «темного царства», что на ней других продуктов не может вырасти!

Но что такое сам Подхалюзин? Ведь это сознательный, умный мошенник с развитыми понятиями! Не составляет ли он противоречия общему впечатлению комедии, заставляющей нас признать все преступления в этой среде следствием темноты разума и неразвитости человеческих сторон характера? Напротив, Подхалюзин окончательно убеждает нас в верности этого впечатления. В нем мы видим, что он именно настолько и сносен еще, насколько коснулось его веяние человеческой идеи. Он не очертя голову бросается в обман, он обдумывает свои предприятия, и вот мы видим, что сейчас же в нем уж является и отвращение от обмана в нагом его виде, и старание замазать свое мошенничество разными софизмами, и желание приискать для своего плутовства какие-нибудь нравственные основания и в самом обмане соблюсти видимую, юридическую добросо-

вестность. Есть вещи, о которых он вовсе и не думал, – как, например, обмеривание и надувание покупателей в лавке, – так там он и действует совершенно равнодушно, без зазрения совести. Но когда вышел случай не обыкновенный, случай попользоваться большим кушем из имения хозяина, тут Подхалюзин задумался и начал себя оправдывать.

Говорят, надо совесть знать, – рассуждает он, – да известное дело, надо совесть знать, да в каком это смысле понимать нужно? Против хорошего человека у всякого есть совесть; а коли он сам других обманывает, так какая же тут совесть! Самсон Силыч купец богатейший, и теперича все это дело, можно сказать, так, для препровождения времени, затеял. А я человек бедный! Если и пользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним, так и греха нет никакого: потому он сам несправедливо поступает, против закона идет. А мне что его жалеть? Вышла линия, ну, и не плошай; он свою политику ведет, а ты свою статью гони. Еще то ли бы я с ним сделал, да не приходится!

Видите, что и Подхалюзин не изверг, и он совесть имеет, только понимает ее по-своему. Он, как и все прочие, сбит с толку военным положением всего «темного царства»; обман свой он обдумывает не как обман, а как ловкую и, в сущности, справедливую, хотя юридически и незаконную штуку; прямой же неправды он не любит: свахе он обещал две тысячи и дает ей сто целковых, упираясь на то, что ей не за что давать более. Рисположенскому он отдает деньги по мелочи и, только уже передавши ему несколько сот, отказывается от дальнейшей уплаты, находя, что ему «пора уж и честь знать». За самого Большова он не вовсе отказываемся платить кредиторам, но только рассчитывает, что 25 копеек – много. Притом же в этом случае он имеет видимое основание для своего поведения: он помнит, что сам Большов говорил ему и ссылается на его же собственные слова. Отдавая за него дочь, Самсон Силыч ведет такой разговор с будущим зятем:

БОЛЬШОВ. Свое добро, сам нажил... кому хочу, тому даю... да что тут разговаривать-то! На милость суда нет!

Бери все, только нас со старухой корми да кредиторам заплати копеек по десяти.

ПОДХАЛЮЗИН. Стоит ли, тятенька, об этом говорить-с. Нешто я не чувствую? Свои люди – сочтемся!

БОЛЬШОВ. Говорят тебе, бери все, да и кончено дело! И никто мне не указ. Заплати только кредиторам. Заплатишь?

ПОДХАЛЮЗИН. Помилуйте, тятенька, первым долгом-с.

БОЛЬШОВ. Только ты смотри – им много не давай. А то ты, чай, рад сдур-то все отдать.

ПОДХАЛЮЗИН. Да уж там, тятенька, сочтемся. Помилуйте, свои люди.

БОЛЬШОВ. То-то же. Ты им больше десяти копеек не давай. Будет с них.

Подхалюзин очень хорошо вошел в эти соображения и кротко напоминает их Большову, когда тот является к нему из ямы. Претензию кредиторов на 25 коп. он не признает справедливою; напротив, он находит, что они «зазнались больно; а не хотят ли восемь копеек в пять лет». Проникнутый этими мыслями, он радушно угощает тестя, вместе с ним руга-

ет кредиторов, выражает надежду, что «как-нибудь отделаемся», ибо «бог милостив»; но заплатить требуемое кредиторами отказывается, потому что они «просят цену, которую совсем несообразную». С его точки зрения, он поступает ничуть не бесчестно и не жестоко, а только благоразумно и твердо. Он даже выказывает значительную степень великодушия, соглашаясь платить за Большова 15 копеек вместо 10-и и решаясь даже сам ехать к кредиторам, чтобы их упрашивать. Видно, что он не лишен даже чувства сострадания и некоторой совестливости; но ему всё хочется отжилить поболее, и он надеется, что, авось, уладит дело повыгоднее. Здесь-то всего более и выказывается в Подхалюзине мелкий плут, образовавшийся прямо вследствие деспотического гнета, тяготевшего над ним с малолетства. У него нет и разбойнической решимости отказаться от всякой уплаты и бросить все это дело Большова на произвол судьбы, с тем, чтобы решиться на новые похождения, с новыми хлопотами и риском; нет и умного расчета, отличающего мошенников высокого полета и заставляющего их брать из всякой

спекуляции хоть что-нибудь, только бы покончить дело. Ловкий мошенник большой руки, пустившись на такое дело, как злостное банкротство, не пропустил бы случая отделаться 25 копейками за рубль; он тотчас покончил бы всю аферу этой выгодной вделкой и был бы очень доволен. Да и как же не быть довольным, успевши задаром получить три четверти чужого имени? Кроме русского доморощенного плута, всякий удовлетворился бы таким результатом. Настоящий мошенник, по призванию посвятивший себя этой специальности, не старается из каждого обмана вытянуть и выторговать себе фортуна, не возится из-за гроша с аферой, которая доставила уже рубли; он знает, что за теперешней спекуляцией ожидает его другая, за другой представится третья и т. д., и потому он спешит обделывать одно дело, чтобы, взявши с него, что можно, перейти к другому. Совсем не так Поступает наш мелкий плут, порожденный и возвращенный бессмысленным гнетом самодурства. В нем нет именно этой размашистости, которой так все восхищаются почему-то в русском человеке, но зато много

бестолкового сквалыжничества. В поступке Подхалюзина могут видеть некоторые тоже широту русской натуры: «Вот, дескать, какой – коли убрать и из чужого добра, так уж забирай больше, бери не три четверти, а девять десятых»... Но в самом-то деле Подхалюзин выказывает здесь именно отсутствие предприимчивости и уверенности в себе. Он пользуется своим обманом, как находкой, которая раз попалась, а в другой раз и не попадетя, пожалуй. Поэтому-то он и не расстаётся с своей аферой, все выжидая, – нельзя ли из нее еще чего-нибудь вытянуть: недаром же он рисковал, в самом деле! Ему так непривычен, так тяжел всякий риск, что он боится и думать о вторичной попытке подобного рода... Теперь ему только бы устроиться, а там он пойдет уж на мелкие обманы, как и обещается в заключительном обращении к публике, по первому изданию комедии: «А вот мы магазинчик открываем! Милости просим: малого ребенка пришлите – в луковице не обочтем-с»{33}. Это значит, что он удовольствуется той практикой, которую прежде объяснял приказчикам Большова...Разве опять *подой-*

дет линия, где будет что-нибудь плохо лежать: тут он и побольше стянет себе, что успеет.

Таким образом, и Подхалюзин не представляет собою изверга, не есть квинтэссенция всех мерзостей. Всего гаже он в той сцене, где он плачет пред Большовым, уверяя его в своей привязанности и проч. Но ведь тут он подмазывается к Самсону Силычу не столько из корысти, сколько для того, чтобы выманить у старика обещание выдать за него Липочку, которую, – надо заметить, – Подхалюзин любит сильно и искренне. Он это ясно доказывает своим обращением с ней в четвертом акте, т. е. когда она уже сделалась его женою... А для любви такие ли хитрости прощаем мы самым нравственным героям, в самых романтических историях!

Нечего распространяться о том, что общему впечатлению пьесы нимало не вредит и Липочка, при всей своей нравственной уродливости.

Находят, что ее обращение с матерью и потом сцена с отцом в последнем акте – переходят пределы комического, как слишком омер-

зительные. Нам вовсе этого не кажется, потому что мы не можем признать святости кровных отношений в таком семействе, как у Большова. На Липочке тоже видна печать домашнего деспотизма: только при нем образуются эти черствые, бездушные натуры, эти холодные, отталкивающие отношения к родным; только при нем возможно такое совершенное отсутствие всякого нравственного смысла, какое замечается у Липочки. А за исключением того, что осталось в Липочке, как след давившего ее деспотизма, она ничуть не хуже большей части наших барышень не только в купеческом, но даже и в дворянском сословии. Многие ли из них не наполняют всей своей жизни одной внешностью, не утешаются в горе нарядами, не забываются за танцами, не мечтают об офицерах? Если я на своем веку имел разговор с тремя образованными барышнями, то от двух из них уж, конечно, слышал я повторение известного монолога Липочки: «То ли дело отличаться с военными! Ах, прелесть, восхищение! И усы, и эполеты, и мундир, а у иных даже шпоры с колокольчиками!.. Уж какое же есть сравне-

ние, – военный или штатский? Военный уж сейчас видно: и ловкость и все, а штатский что? Так, какой-то неодошевленный»... Как же можно барышень, произносящих подобные монологи, серьезно обвинять за что-нибудь? Не ясно ли, что Липочка все, что ни делает, делает по совершенной неразвитости нравственной и умственной, а никак не по злонамеренности или природному зверству? Чем же возмущаться в личности этой несчастной?

Вообще, чем можно возмущаться в «Своих людях?» Не людьми и не частными их поступками, а разве тем печальным бессмыслием, которое тяготеет над всем их бытом. Люди, как мы видели, показаны нам в комедии с человеческой, а не с юридической стороны, и потому впечатление самых их преступлений смягчается для нас. Официальным образом мы видим здесь злого банкрота, еще более злого приказчика, ограбившего своего хозяина, ехидную дочь, хладнокровно отправляющую в острог своего отца, – и все эти лица мы клеймим именами злодеев и извергов. Но автор комедии вводит нас в самый до-

машинный быт этих людей, раскрывает перед нами их душу, передает их логику, их взгляд на вещи, и мы невольно убеждаемся, что тут нет ни злодеев, ни извергов, а всё люди очень обыкновенные, как все люди, и что преступления, поразившие нас, суть вовсе не следствия исключительных натур, по своей сущности склонных к злодейству, а просто неизбежные результаты тех обстоятельств, посреди которых начинается и проходит жизнь людей, обвиняемых нами. Следствием такого убеждения является в нас уважение к человеческой натуре и личности вообще, смех и презрение в отношении к тем уродливым личностям, которые действуют в комедии и в официальном смысле внушают ужас и омерзение, и наконец – глубокая, непримиримая ненависть к тем влияниям, которые так задерживают и искажают нормальное развитие личности. Затем мы прямо переходим к вопросу: что же это за влияния и каким образом они действуют? Комедия ясно говорит нам, что все вредные влияния состоят здесь в диком, бесправном самовольстве одних над другими. Самый способ действия этих влия-

ний объясняется нам из комедии очень просто. Мы видели, что Большов вовсе не сильная натура, что он не способен к продолжительной борьбе, да и вообще не любит хлопот; видели мы также, что Подхалюзин – человек сметливый и вовсе не привязанный к своему хозяину; видели, что и все домашние не очень-то расположены к Самсону Силычу, кроме разве жены его, совершенно ничтожной и глупой старухи. Что же мешает им составить открытую оппозицию против неистовств Большова? То, что они материально зависят от него, их благо состояние связано с его благосостоянием? Но в таком случае, отчего Подхалюзин, радея о пользах хозяина, не удерживает его от опасного шага, на который тот решается по неразумию, «так, для препровождения времени»? Потому, конечно, что Подхалюзин сам надеется тут нагреть руки? Да, но – здесь-то и раскрывается в полной силе весь ужас; нелепых отношений, изображенных нам в «Своих людях». Видите, здесь дело не в личности самодура, угнетающего свою семью и всех окружающих. Он бессилен и ничтожен сам по себе; его можно обмануть,

устранить, засадить в яму наконец... Но дело в том, что с уничтожением его не исчезает самодурство. Оно действует заразительно, и семена его западают в тех самых, которые от него страдают. Бесправное, оно подрывает доверие к праву; темное и ложное в своей основе, оно гонит прочь всякий луч истины; бессмысленное и капризное, оно убивает здравый смысл и всякую способность к разумной, целесообразной деятельности; грубое и гнетущее, оно разрушает все связи любви и доверенности, уничтожает даже доверие к самому себе и отучает от честной, открытой деятельности. Вот чем именно и опасно оно для общества! Самодура уничтожить было бы нетрудно, если б энергически принялись за это честные люди. Но беда в том, что под влиянием самодурства самые честные люди мельчают и истомляются в рабской бездеятельности, а делом занимаются только люди, в которых собственно человеческие стороны характера наименее развиты. И деятельность этих людей, вследствие совершенного извращения их понятий под влиянием самодурства, имеет тоже характер мелкий, частный и

грубо эгоистический. Цель их не та, чтобы уничтожить самодурство, от которого они так страдают, а та, чтобы только как-нибудь повалить самодура и самим занять его место. И вот – Большов угодил в яму, и вместо него явился Подхалюзин – и благоденствует на тех же правах[13].

Таковы общие выводы, представляемые нам комедиен) «Свои люди – сочтемся». Мы остановились на ней особенно долго по многим причинам. Во-первых, о ней до сих пор не было говорено ничего серьезного; во-вторых, краткие заметки, какие делались о ней мимоходом, постоянно обнаруживали какое-то странное понимание смысла пьесы; в-третьих, сама по себе комедия эта принадлежит к наиболее ярким и выдержанным произведениям Островского; в-четвертых, не будучи играна на сцене, она менее популярна в публике, нежели другие его пьесы... Кроме того, она требовала более подробного рассмотрения и потому, что в ней изображаются подвижные плутовские натуры, развившиеся под гнетом самодурства. Таковы здесь все лица, исключая Аграфены Кондратьевны. Они

деятельно подчинились самодурству, растлили свой ум, сделались сами участниками гадостей, порождаемых деспотическим гнетом. Рассмотреть это нравственное искажение – представляет задачу, гораздо более сложную и трудную, нежели указать простое падение внутренней силы человека под тяжестью внешнего гнета. А именно, натуры последнего разряда, сдавленные, убитые, потерявшие всякую энергию и подвижность, – представляются нам, главным образом, в последующих комедиях Острорского, к которым мы должны теперь обратиться. В этих последних мы уже гораздо короче постараемся проследить мертвящее влияние самодурства и преимущественно остановимся на одном его виде – на рабском положении нашей женщины в семействе. Затем, в связи с тем же вопросом самодурства и даже в прямой зависимости от него, рассмотрим значение тех форм образованности, которые так смущают обитателей нашего «темного царства», и, наконец, тех средств, которые многими из героев этого царства употребляются для упрочения своего материального благосостояния. Но рассмотре-

ние всех этих вопросов и показание непосредственной связи их с самодурством, – как оно обнаруживается в комедиях Островского, – должно составить другую статью.

Теперь же мы можем, в заключение разбора «Своих людей», только спросить читателей: откажут ли они изображениям Островского, так подробно анализированным нами, в жизненной правде и в силе художнического представления? И если эти лица и этот быт верны действительности, то думают ли читатели, что те стороны русского быта, которые рисует нам Островский, не стоят внимания художника? Решатся ли они сказать, что действительность, изображаемая им, имеет лишь частное и мелкое значение и не может дать никаких важных результатов для человека рассуждающего?.. Ответ на эти вопросы может показать, достигли ли мы своей цели, анализируя факты, представляющиеся нам в комедиях Островского... Что касается лично до нас, то мы никому ничего не навязываем, мы даже не выражаем ни восторга, ни негодования, говоря о произведениях Островского. Мы только следим за явлениями, им изобра-

женными, и объясняем, какой смысл имеют они для нас. Читатели, соображаясь с своими собственными наблюдениями над жизнью и с своими понятиями о праве, нравственности и требованиях природы человеческой, могут решить сами – как то, справедливы ли наши суждения, так и то, какое значение имеют жизненные факты, извлекаемые нами из комедий Островского.

*И ныне все дико и пусто кругом...
 Не шепчутся листья с гремучим клю-
 чом;
 Напрасно пророка о тени он просит:
 Его лишь весок раскаленный заносит,
 Да коршун хохлатый, степной нелю-
 дим,
 Добычу терзает и щиплет над ним.
 Лермонтов{34}*

Рассматривая комедию Островского «Свои люди – сочтемся», мы обратили внимание читателей на некоторые черты русского, преимущественно купеческого быта, отразившиеся в этой комедии. Мы сказали, что основа комизма Островского заключается, по нашему мнению, в изображений бессмысленного влияния *самодурства*, в обширном значении слова, на семейный и общественный быт. В отношениях Самсона Силыча Вольтова ко всем, его окружающим, мы видели, что самодурство это – бессильно и дряхло само по себе, что в нем нет никакого нравственного могущества, но влияние его ужасно тем, что, бу-

дучи само бессмысленно И бесправно, оно искажает здравый смысл и понятие о праве во всех, входящих с ним в соприкосновение. Мы видели, что под влиянием самодурных отношений развивается плутовство и пронырливость, гложут все гуманные стремления даже хорошей природы и развивается узкий, исключительный эгоизм и враждебное расположение к ближним. Нужно иметь гениально светлую голову, младенчески непорочное сердце и титанически могучую волю, чтобы иметь решимость выступить на практическую, действительную борьбу с окружающей средой, нелепость которой способствует только развитию эгоистических чувств и вероломных стремлений во всякой живой и деятельной природе.

Но чтобы выйти из подобной борьбы непобежденным, – для этого мало и всех исчисленных нами достоинств: нужно еще иметь железное здоровье и – главное – вполне обеспеченное состояние, а между тем, по устройству «темного царства», – все его зло, вся его ложь тяготеет страданиями и лишениями именно только над теми, которые слабы, изнурены и

не обеспечены в жизни; для людей же сильных и богатых – та же самая ложь служит к услаждению жизни. Что же им за выгода обличать эту ложь, бороться с этим злом? Можно ли ожидать, что купец Большов станет требовать, например, от своего приказчика Подхалюзина, чтобы тот разорял его, поступая по совести и отговаривая покупателей от покупки гнилого товара и от платы за него лишних денег? Само собою разумеется, что скорее уж сам приказчик мог бы, проникнувшись добросовестностью, последовать такому образу действий. Но приказчик связан с хозяином: он сыт и одет по хозяйской милости, он может «в люди произойти», если хозяин полюбит его; а ежели не полюбит, то что же такое приказчик, со своей непрактической добросовестностью? Так, – ничтожество!.. И вот Подхалюзин начинает соображать шансы своего положения. Человек он не гениальный, не герой и не титан, а очень обыкновенный смертный. Невозможно и требовать от него практического протеста против всей окружающей его среды, против обычаев, установившихся веками, против понятий, кото-

рые, как святаыня, внушались ему, когда он был еще мальчишкой, ничего не смыслившем... Ясно, что он должен подчиниться той морали, какая господствует в атмосфере, его окружающей – пойти по той дорожке, которая проторена другими... Не пробовать же ему новой, никому неведомой дороги, когда уж есть готовый торный проселок!

Но, с другой стороны, как натура живая и деятельная, и Подхалюзин задает себе некоторые жизненные вопросы и задачи. Задачи его обыкновенно очень мизерны, вопросы – не глубоки, потому что круг зрения его очень ограничен. Он видит перед собой своего хозяина-самодура, который ничего не делает, пьет, ест и прохлаждается в свое удовольствие, ни от кого ругательств не слышит, а, напротив, сам всех ругает невозбранно, – и в этом гаденьком лице он видит идеал счастья и высоты, достижимых для человека. Что выходит из тесного круга обыденной жизни, постоянно им видимой, о том он имеет лишь смутные понятия, да ни мало и не заботится, находя, что то уж совсем другое, об этом уж нашему брату и думать нечего... А раз решив-

ши это, поставивши себе такой предел, за который нельзя переступить, Подхалюзин, очень естественно, старается приспособить себя к такому кругу, где ему надо действовать, и для того съезживается и выгибается. Это же и не стоит ему большого труда, – дело привычное с малолетства: как вытянут по спине аршином или начнут об голову кулаки оббивать, – так тут поневоле выгнешься и сожмешь... И Подхалюзин, вынося сам всякие истязания и находя, наконец, что это в порядке вещей, глубоко затаивает свои личные, живые стремления в надежде, что будет же когда-нибудь и на его улице праздник. Между тем нравственное развитие идет своим путем, логически неизбежным при таком положении: Подхалюзин, находя, что личные стремления его принимаются всеми враждебно, мало-помалу приходит к убеждению, что действительно личность его, как и личность всякого другого, должна быть в антагонизме со всем окружающим и что, следовательно, чем более он отнимет от других, тем полнее удовлетворит себя. Из этого начала развивается то вечно осадное положение, в котором

неизбежно находится каждый обитатель «темного царства», пускающийся в практическую деятельность, с намерением добиться чего-нибудь... Высшие нравственные правила, для всех равно обязательные, существуют для него только в нескольких прекрасных предложениях и заповедях, никогда не применяемых к жизни; симпатическая сторона натуры в нем не развита; понятия, выработанные наукою, об общественной солидарности и о равновесии прав и обязанностей, – ему недоступны. Самые идеалы его (потому что идеалы и у Подхалюзина есть, как есть и у городничего в «Ревизоре») грубы, тусклы, безобразны и бесчеловечны. Городничий мечтает о том, как он, сделавшись генералом, будет заставлять городничих ждать себя по пяти часов; так точно Подхалюзин предполагает: «Тянька подурили на своем веку, – будет: теперь нам пора». И только бы ему достичь возможности осуществить свой идеал: он в самом деле не замедлит заставить других так же бояться, подличать, фальшивить и страдать от него, как боялся, подличал, фальшивил и страдал сам он, пока не обеспечил себе право на само-

дурство...

Тяжело проследить подобную карьеру; горько видеть такое искажение человеческой природы. Кажется, ничего не может быть хуже того дикого, неестественного развития, которое совершается в натурах, подобных Подхалюзину, вследствие тяготения над ними самодурства. Но в последующих комедиях Островского нам представляется новая сторона того же влияния, по своей мрачности и безобразию едва ли уступающая той, которая была нами указана в прошедшей статье.

Эта новая сторона является нам в натурах подавленных, безответных. Такие натуры представляются нам почти в каждой из комедий Островского, с большею или меньшею ясностью очертаний. Даже в «Своих людях» Аграфена Кондратьевна принадлежит к таким натурам; но здесь она не играет видной роли. Ярче выставляются нам в последующих комедиях лица Мити в «Бедность не порок» и детей Брусковых в пьесе «В чужом пиру похмелье», и лица девушек почти во всех комедиях Островского. Авдотья Максимовна, Любовь Торцова, Даша, Надя – все это безвинные,

безответные жертвы самодурства, и то сглажение, *отменение* человеческой личности, какое в них произведено жизнью, едва ли не безотраднее действует на душу, нежели самое искажение человеческой природы в плутах, подобных Подхалюзину. Там еще кое-где пробивается жизнь, самобытность, мерцает минутами луч какой-то надежды, здесь – тишь невозмутимая, мрак непроглядный, здесь перед вами стоит мертвая красавица в безлюдной степи, и общее гробовое молчание нарушается лишь движением степного коршуна, терзающего в воздухе добычу... Жутко, точно на кладбище или в доме купца-раскольника накануне великого праздника!

Чтобы видеть проявление безответной, забитой природы в разных положениях и обстоятельствах, мы проследим теперь последующие за «Своими людьми» комедии Островского из купеческого быта, начавши с комедии «Не в свои сани не садись».

Но, упомянувши об этой пьесе, мы считаем нужным напомнить читателям то, что сказано было нами в первой статье – о значении вообще художнической деятельности. «Не в

свои сани не садись» вызвало самые разнообразные суждения об убеждениях Островского. Одни превознесли его за то, что он усвоил себе прекрасные воззрения славянофилов на прелести русской старины; другие возмутились тем, что Островский явился противником современной образованности. Все эти рассуждения могли быть прискорбны для Островского главным образом потому, что из-за толков о его воззрениях совершенно забывали о его таланте и о лицах и явлениях, выведенных им. В отношении к Островскому такой прием был просто не деликатен. Мы понимаем, что графа Соллогуба, например, нельзя было разбирать иначе, как спрашивая: что он *хотел сказать* своим «Чиновником»? – потому что «Чиновник» есть не что иное, как модная юридическая – даже не идея, а просто – фраза, драматизированная, без малейшего признака таланта. Можно так обращаться, например, и с стихотворениями г. Розенгейма: поэзии у него нет ни в одном стихе; поэтому единственной меркою достоинства стихотворения остается относительное значение идеи, на которую оно сочинено.

Таким образом, не входя ни в какие художественные разбирательства, можно, например, похвалить г. Розенгейма за то, что «Гроза», помещенная им недавно в «Русском слове»{35}, написана им на тему, не имеющую той пошлости, как его чиновничьи и откупные элегии. Здесь мы можем быть совершенно спокойны, обращая внимание единственно на воззрение автора, какое желал он выразить в пьесе. Комедии Островского заслуживают другого рода критики, потому что в них, независимо от теоретических понятий автора, есть всегда художественные достоинства. Мы уже замечали, что общие идеи принимаются, развиваются и выражаются художником в его произведениях совершенно иначе, нежели обыкновенными теоретиками. Не отвлеченные идеи и общие принципы занимают художника, а живые образы, в которых проявляется идея. В этих образах поэт может, даже неприметно для самого себя, уловить и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определит его рассудком. Иногда художник может и вовсе не дойти до смысла того, что он сам же изображает, но критика и

существует затем, чтобы разъяснить смысл, скрытый в созданиях художника, и, разбирая представленные поэтом изображения, она вовсе не уполномочена привязываться к теоретическим его воззрениям. В первой части «Мертвых душ» есть места, по духу своему близко подходящие к «Переписке», но «Мертвые души» от этого не теряли своего общего смысла, столь противоположного теоретическим воззрениям Гоголя. И критика Белинского не трогала гоголевских теорий, пока он являлся пред нею просто как художник; она ополчилась на него тогда, когда он провозгласил себя нравоучителем и вышел к публике не с живым рассказом, а с книжицею назидательных советов...{36}

Не сравнивая значения Островского с значением Гоголя в истории нашего развития, мы заметим, однако, что в комедиях Островского, под влиянием каких бы теорий они ни писались, всегда можно найти, черты глубоко верные и яркие, доказывающие, что сознание жизненной правды никогда не покидало художника и не допускало его искажать действительность в угоду теории. А если так, то,

значит, и основные черты мирозерцания художника не могли быть совершенно уничтожены рассудочными ошибками. Он мог брать для своих изображений не те жизненные факты, в которых известная идея отражается наилучшим образом, мог давать им произвольную связь, толковать их не совсем верно; но если художническое чутье не изменило ему, если правда в произведении сохранена, – критика обязана воспользоваться им для объяснения действительности, равно как и для характеристики таланта писателя, но во все не для брани его за мысли, которых он, может быть, еще и не имел. Критика должна сказать: «Вот лица и явления, выводимые автором; вот сюжет пьесы; а вот смысл, какой, по нашему мнению, имеют жизненные факты, изображаемые художником, и вот степень их значения в общественной жизни». Из этого суждения само собою и окажется, верно ли сам автор смотрел на созданные им образы. Если он, например, силится возвести какое –нибудь лицо во всеобщий тип, а критика докажет, что оно имеет значение очень частное и мелкое, – ясно, что автор повредил

произведению ложным взглядом на героя. Если он ставит в зависимости один от другого несколько фактов, а по рассмотрению критики окажется, что эти факты никогда в такой зависимости не бывают, а зависят совершенно от других причин, – опять очевидно само собой, что автор неверно понял связь изображаемых им явлений. Но и тут критика должна быть очень осторожна в своих заключениях: если, например, автор награждает, в конце пьесы, негодяя или изображает благородного, но глупого человека, – от этого еще очень далеко до заключения, что он хочет оправдывать негодяев или считает всех благородных людей дураками. Тут критика может рассмотреть только: точно ли человек, выставляемый автором как благородный дурак действительно таков по понятиям критики об уме и благородстве, – и затем: такое ли значение придает автор своим лицам, какое имеют они в действительной жизни?

Таковы должны быть, по нашему мнению, отношения реальной критики к художественным произведениям; таковы в особенности должны они быть к писателю при обозрении

целой его литературной деятельности. Говоря об отдельном произведении, критика может увлекаться частностями и ставить в вину писателю то, что им лишь недостаточно выяснено. Но при общей характеристике частности могут остаться в стороне, и на первом плане является изображение общего мирозерцания писателя, как оно выразилось во всей массе его произведений. А как оно выразилось, это определяется теми предметами и явлениями, которые привлекали к себе его внимание и сочувствие и послужили материалами для его изображений.

Сделавши эти объяснения, мы можем теперь сказать, что вовсе не хотим видеть в «Не в своих санях» апологию патриархального, старинного быта и попытку доказать преимущества русской необразованности пред европейским образованием. Мы могли бы в этой комедии отыскать даже нечто противоположное, но и того не хотим, а просто укажем на факт, служащий основой пьесы. Мы уже видели, что основной мотив пьес Островского – неестественность общественных отношений, происходящая вследствие самодурства одних

и бесправности других. Чувство художника, возмущаясь таким порядком вещей, преследует его в самых разнообразных видоизменениях и передает на позор того самого общества, которое живет в этом порядке. И вот одно из таких видоизменений.

Есть на Руси купец-самодур, добрый, честный и даже, по-своему, умный, – но самодур. У него есть дочь, которая перед ним безгласна и бесправна, как всякая дочь перед всяким самодуром. Не признавая ее прав как самостоятельной личности, ей и не дают ничего, что в жизни может ограждать личность: она необразованна, у ней нет голоса даже в домашних делах, нет привычки смотреть на людей своими глазами, нет даже и мысли о праве свободного выбора в деле сердца. Выросши в полный рост человеческий, она все еще ведет себя, как несовершеннолетняя, как ребенок неразумный. Самая любовь ее к отцу, парализуемая страхом, неполна, неразумна и неоткровенна, так что дочка втихомолку от отца, напивается понятиями своей тетушки, пожилой девы, бывшей в ученье на Кузнецком мосту, и затем с ее голоса уверяет себя, что

влюблена в молодого прощельгу, отставного гусара, на днях приехавшего в их город. Гусар сватается, отец отказывает; тогда гусар увозит девушку, и она решается ехать с ним, все толкуя, однако, о том, что ехать не надо, а лучше к отцу возвратиться. Но на первой же станции гусар узнает, что отец не даст ни гроша денег за убежавшей дочерью, и тотчас же, конечно, прогоняет от себя бедную девушку. Она возвращается домой; отец ругает и хочет запереть ее на замок, чтоб света божьего не видела и его перед людьми не срамила; но ее решается взять за себя молодой купчик, который давно в нее влюблен и которого сама она любила до встречи с Вихоревым. Все кончается благополучно.

Таков факт, составляющий сущность комедии «Не в свои сани не садись». Какой же смысл его? Дает ли он хоть какой-нибудь повод к развитию темы о преимуществах старого быта, к выражению славянофильских тенденций? Кажется, нет. Смысл его тот, что самодурство, в каких бы умеренных формах ни выражалось, в какую бы кроткую опеку ни переходило, все-таки ведет, – по малой мере,

к обезличению людей, подвергшихся его влиянию; а обезличение совершенно противоположно всякой свободной и разумной деятельности; следовательно, человек обезличенный, под влиянием тяготевшего над ним самодурства, может нехотя, бессознательно совершить какое угодно преступление и погибнуть – просто по глупости и недостатку самобытности.

Это значение рассказанного нами факта, всего скорее и резче бросающееся в глаза, недостаточно ярко является в комедии, потому что в ней на первый план выступает контраст умного, солидного Русакова и доброго, честного Бородкина – с жалким вертопрахом Вихоревым. За этот контраст и ухватились критики и наделали в своих разборах таких предположений, каких у автора, может быть, и на уме никогда не было. Его обвинили чуть не в совершенном обскурантизме, и даже до сих пор некоторые критики не хотят ему простить того, что Русаков – необразованный, но все-таки добрый и честный человек[14]. И действительно, увлекшись негодованием против мишурной образованности господ, по-

добных Вихореву, сбивающих с толку простых русских людей, Островский не с достаточной силой и ясностью выставил здесь *те причины*, вследствие которых русский человек может увлекаться подобными господами. Но нельзя сказать, чтоб эти причины были совершенно забыты автором: простой и естественный смысл факта не укрылся от него, и в «Не в своих санях» мы находим разбросанные черты тех отношений, которые разумеем под общим именем самодурных. Если б эти черты были ярче, комедия имела бы более цельности и определенности; но и в настоящем своем виде она не может быть названа противною основным чертам мирозерцания автора. В темный быт Русаковых он внес луч постороннего света, сгладил и уравнил некоторые грубые черты; но и в этом смягченном виде, если всмотреться внимательно, — сущность дела осталась та же. Попробуем указать несколько черт из отношений Русакова к дочери и к окружающим; мы увидим, что здесь основанием всей истории является опять-таки то же самодурство, на котором утверждаются все семейные и обще-

ственные отношения этого «темного царства».

Максим Федотыч Русаков – этот лучший представитель всех прелестей старого быта, умнейший старик, *русская душа*, которую славянофильские и кошихинствующие{37} критики кололи глаза нашей послепетровской эпохе и всей новейшей образованности, – Русаков, на наш взгляд, служит живым протестом против этого темного быта, ничем не осмысленного и безнравственного в самом корне своем. В Большове мы видели дрянную натуру, подвергшуюся влиянию этого быта; в Русакове нам представляется: а вот какими выходят при нем даже честные и мягкие натуры!.. И действительно, природная доброта и даже деликатность пробивается в Русакове сквозь грубые формы. Он обходится со всеми ласково, о жене и дочери говорит с умилением; когда Дуня, узнав о его решительном отказе Вихореву, падает в обморок (сцена эта нам кажется, впрочем, утрированной), он пугается и даже тотчас соглашается изменить для нее свое решение. Мало этого: у него голова сложена довольно хорошо, и из нее не вы-

бить здравый смысл. Он не говорит просто: «Так должно быть *потому*, что я так хочу», – а старается отыскивать резоны для своих решений. Но этим и ограничивается то, что мог он сохранить из добрых качеств своей натуры; далее начинаются приобретения самодурства. Видно, что Русаков, по мягкости своей природы, с самого начала кротко покорился существующему порядку, признав его законность; значит, не было нужды доказывать ему эту законность пинками и колотушками. Оттого в нем и в старости нет той враждебности и крутости, какую замечаем в других самодурах, выводимых Островским; оттого он не отвергает даже резонов в разговоре с низшими и младшими. Но быт «темного царства», в котором он вырос, ничего не дал ему в отношении резонности: ее нет в этом быте, и потому Русаков впадает в ту же бессмысленность, в тот же мрак, в каком блуждают и другие собратья его, хуже одаренные природою.

Любопытно послушать мораль, до которой успел он возвыситься. Покорность, терпение, уважение к опыту и преданию, ограничение себя своим кругом – вот его основные положе-

ния. Дошел он до них грубо эмпирически, сопоставляя факты, но ничем их не осмысливая, потому что мысль его связана в то же время самым упорным, фаталистическим понятием о судьбе, распоряжающейся человеческими делами. Он появляется на сцену с сентенцией о том, что «нужно к старшим за советом ходить, – старик худа не посоветует». Далее в ответ на сватовство Бородина, он говорит: «Я, значит, должен это дело сделать с разумом, потому – мне придется за дочь богу отвечать». На этом основании он с судьбою дочери распоряжается вот каким образом: «Ста-точное ли дело, чтоб поверить девке, кто ей понравится? Нет, это не порядок: пусть мне человек понравится. Я не за того отдам, кого она полюбит, а за того, кого я люблю. Да, кого я люблю, за того и отдам». В этом уж крепко сказывается самодурство; но оно смягчается в Русакове следующим рассуждением: «Как девке поверить? что она видела? кого она знает?» Рассуждение справедливое в отношении к дочери Русакова; но ни Русакову и никому из его братьев не приходит в голову спросить: «Отчего ж она ничего не видела»

и никого не знает? Какая же необходимость была воспитывать ее в таком блаженном неведении, что всякий ее может обмануть?..» Если б они задали себе этот вопрос, то из ответа и оказалось бы, что всему злу корень опять-так не что иное, как их собственное самодурство. Русаков совершенно доволен своим положением и в бары лезть не желает, а образование он считает исключительной принадлежностью бар; вследствие того он и дочь свою так держит, что она остается, по его выражению, *дурою*. В ответ на сватанье Вихорева он говорит: «Ищите себе барышень, воспитанных, а уж наших-то дур оставьте нам, мы своим-то найдем женихов каких-нибудь дешевеньких». В этих словах еще слышится ирония; но Русаков и серьезно продолжает в том же роде: «Ну, какая она барыня, посудите, отец: жила здесь в четырех стенах, свету не видала... Не за что вам и любить ее: она девушка простая, невоспитанная и совсем вам не пара. У вас есть родные, знакомые, все будут смеяться над ней, как над дурой, да и вам-то она опротивеет хуже горькой полыни.... так отдам ли я дочь на такую ка-

торгу!»

В этих рассуждениях всего печальнее то, что они совершенно справедливы. В самом деле – не очень-то веселая жизнь ожидала бы Авдотью Максимовну, если бы она вышла за *благородного*, хотя бы он и не был таким шалыганом, как Вихорев. Она, в самом деле, воспитана так, что в ней вовсе нет лица человеческого. Самая лучшая похвала ей из уст самого отца – какая же? – та, что «в глазах у нее только любовь да кротость: *она будет любить всякого мужа*, надо найти ей такого, чтобы ее-то любил». Это значит – доброта безразличная, безответная, именно такая, какая в мягких натурах вырабатывается под гнетом семейного деспотизма и какая всего более нравится самодурам. Для людей, привыкших опирать свои действия на здравом смысле и соотносить их с требованиями справедливости и общего блага, такая доброта противна или по крайней мере жалка. Не мудрено рассудить, что если человек со всеми соглашается, то у него значит, нет своих убеждений; если он всех любит и всем друг, то, значит, – все для него безразлично; если девушка всякого

мужа любить будет, – то ясно, что сердце у ней составляет даже не кусок мяса, а просто какое-то расплывающееся тесто, в которое можно воткнуть что угодно...

Для человека, не зараженного самодурством, вся прелесть любви заключается в том, что воля другого существа гармонически сливается с его волей без малейшего принуждения. Оттого-то очарование любви и бывает так неполно и недостаточно, когда взаимность достигается какими-нибудь вымогательствами, обманом, покупается за деньги или вообще приобретается какими-нибудь внешними и посторонними средствами. Чувство любви может быть истинно хорошо только при внутренней гармонии любящих, и тогда оно составляет начало и залог того общественного благоденствия, которое обещается нам, в будущем развитии человечества водворением братства и личной равноправности между людьми. Но самодурство и этого чувства не может оставить свободным от своего гнета: в его свободном и естественном развитии оно чувствует какую-то опасность для себя и потому старается убить прежде

всего то, что служит его основанием – личность. Для этого самодуры сочиняют свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по их толкованиям выходит, что чем более личность стерта, неразличима, неприметна, тем она ближе к идеалу совершенного человека. «У него такой отличный характер, что он вынесет безропотно всякое оскорбление, будет любить самого недостойного человека», – вот похвала, выше которой самодур ничего не знает. А на наш взгляд, подобный человек есть дрянь, кисель, тряпка; он может быть хорошим человеком, но только в лакейском смысле этого слова. На другое же ни на что он не годен, и от него можно ожидать ровно столько же пакостей, сколько и хороших поступков: все будет зависеть от того, в какие руки он попадет. Ничего этого не признает Русаков, в качестве самодура, и твердит свое: «Все зло на свете от необузданности; мы, бывало, страх имели и старших уважали, так и лучше было... бить некому нынешних молодых людей, а то-то надо бы; палка-то по них плачет». И о чем бы он ни говорил, – уважение к старшим на первом плане. Даже на Ви-

хорева он сердится всего более за то, что тот «со старшими говорить не умеет». И на дочь свою, когда та делает попытку убедить отца, он, при всей своей мягкости, прикрикивает: «Да как ты смеешь так со мною разговаривать?» А затем он дает ей строгий приказ: «Вот тебе, Авдотья, мое последнее слово: или поди ты у меня за Бородкина, или я тебя и знать не хочу». И чтобы приказ был действительнее, он подкрепляет его попреками: «Я тебя растил, я тебя берег пуще глазу... Что греха на душу принял, гордость меня одолела с тобой... Наказал бог по грехам». Говоря беспристрастно, такое обращение нельзя назвать очень гуманным; но в нашем «темном царстве» и оно еще довольно мягко, и Русаков по справедливости может быть назван лучшим из самодуров. Зато и выработалась же добрая натура Авдотьи Максимовны под влиянием этого кроткого самодурства! Трудно представить более жалкую девушку. В сущности, она даже скорее комична, нежели жалка, так, как комична Софья Павловна с своей любовью к Молчалину или Софья Сергеевна (в «Новейшем оракуле» г. Потехина) с нежной

страстию к Зильбербаху. Но над Авдотьей Максимовной нельзя смеяться: обстановка ее слишком мрачна. Когда мы одиноко идем в полночь по темному склепу между могилами, и вдруг за одной из гробниц пред нами внезапно является какая-нибудь нелепая рожа и делает нам гримасу, – то, как бы гримаса ни была смешна, трудно засмеяться в эту минуту: невольно испугаешься. Так и комизм нашего «темного царства»: дело само по себе просто забавно, но в виду самодуров и жертв, во мраке ими задавленных, пропадает охота смеяться... Авдотья Максимовна в течение всей пьесы находится в сильнейшей ажитации, бессмысленной и пустой, если хотите, но тем не менее возбуждающей в нас не смех, а сострадание: бедная девушка в самом деле не виновата, что ее лишили всякой нравственной опоры внутри себя и воспитали только к тому, чтобы век ходить ей на привязи. Сердце у ней доброе, в характере много доверчивости, как у всех несчастных и угнетенных, не успевших еще ожесточиться; потребность любви пробуждена; но она не находит для себя ни простора, ни разумной опоры, ни до-

стойного предмета. В Авдотье Максимовне не развито настоящее понятие о том, что хорошо и что дурно, не развито уважение к побуждениям собственного сердца, а в то же время и понятие о нравственном долге развито лишь до той степени, чтобы признать его, как внешнюю принудительную силу. В этом положении несчастная девушка и мечется, не зная, куда ей приклонить наконец свою голову. Отца она любит, но в то же время и боится, и даже как-то не совсем доверяет ему. Бородкин ей нравился; но ей сказали, что он мужик необразованный, и она теряется, не знает, что думать, и доходит до того, что Бородкин становится ей противен. Подвертывается Вихорев, который ничего не имеет, кроме наглости и вывесочной физиономии, — она прельщается Вихоревым. Но и тут она только понапрасну мучит самое себя: ни на одну минуту не стоит она на твердой почве, а все как будто тонет, — то всплывет немножко, то опять погрузится... так и ждешь, что вот-вот сейчас потонет совсем... При первом ее появлении на сцену, в конце первого акта, Вихорев сообщает ей, что отец просватал ее за Бо-

родкина; она наивно говорит: «Не беспокойтесь, я за Бородкина не пойду». – «А если отец прикажет?» – спрашивает Вихорев. «Нет, – говорит, – он насильно не заставит». – «А как заставит, – что тогда?» – «Тогда, – идиотски отвечает она, – я уж, право, и не знаю, что мне делать с этим делом... такая-то напасть на меня!» Вихорев, для которого все средства хороши, предлагает ей уехать с ним тихонько; она приходит в ужас и восклицает: «Ах нет, нет, что вы это? Ни за какие сокровища!» Отчего же такой ужас? Да просто оттого, видите, что, «отец проклянет меня; каково мне будет тогда жить на белом свете?» Вследствие того она простодушно советует Вихореву переговорить с ее отцом; Вихорев предполагает неудачу, и она успокаивает его таким рассуждением: «Что же делать! знать, моя такая судьба несчастная... Вчера тетенька на картах гадала, что-то все дурно выходило, я уж не мало плакала». Вихорев стращает ее, что уедет на Кавказ и будет стараться, чтоб его там застрелили; она и к нему пристаёт: «Нет, не едите. Что это вы, – какие страсти говорите». Словом, – девушка со всех сторон под стра-

хом: там отцовское проклятие грозит, тут на картах дурно выходит, а здесь милого Вихорева, того и гляди – черкесы подстрелят. И хоть бы какое-нибудь внутреннее противодействие всем этим ужасам явилось в бедной девушке! Она простодушно и одинаково верит – и отцовскому проклятию, и картам, и тому, что Вихорев поедет под пули, – и всего этого одинаково боится... Правду она говорит про себя в начале второго акта: «Как тень какая хожу, ног под собою не слышу... только чувствует мое сердце, что ничего из этого хорошего не выйдет. Уж я знаю, что много мне, бедной, тут слез пролить». Да и как же не пролить при таких порядках!..

К довершению горя оказывается, что она еще и Бородкина-то любит, что она с ним, бывало, встретится, так не наговорится: у калиточки, его поджидает, осенние темные вечера с ним просиживает, – да и теперь его жалеет, но в то же время не может никак оторваться от мысли о необычайной красоте Вихорева. Впрочем, она очень недовольна собой и говорит: «На грех я его увидела». Но самое большое мученье для нее составляет – просить от-

ца о согласии на ее желание выйти за Вихорева. Она приступает к этому с какой-то особенной торжественностью, заставляет Вихорева сначала поклясться, что он ее, точно, любит, потом объявляет ему, что для доказательства своей любви она решается сама просить отца... «Но если б вы знали, чего это мне стоит», – прибавляет она, и последующая сцена вполне объясняет и оправдывает ее страх, возможный и понятный единственно только при самодурных отношениях, на которых основан весь семейный быт Русаковых. Кажется, чего естественнее и легче для дочери – объявить свои желания отцу, который ее нежно любит? Но Авдотья Максимовна, твердя о том, что отец ее любит, знает, однако же, какого рода сцена может быть следствием подобной откровенности с отцом, и ее добрая, забитая натура заранее трепещет и страдает. В самом деле, – и «как ты смеешь?», и «я тебя растил и лелеял», и «ты дура», и «нет тебе моего благословения» – все это градом сыплется на бедную девушку и доводит ее до того, что даже в ее слабой и покорной душе вдруг подымается кроткий протест, выражающий-

ся невольным, бессознательным переломом прежнего чувства: отцовский приказ идти за Бородкина возбудил в ней отвращение к нему. «Мне давеча было жаль Ваню, – говорит она про Бородкина, – а теперь он мне опостылел». Но это уже крайняя степень реакции, на которую она способна; далее этого она не может идти в своем сопротивлении чужой воле – и падает в обморок. Тут происходит, чувствительная сцена, в которой Русаков умиляется и соглашается выдать дочь за Вихорева, но только если тот возьмет ее без денег. Обрадованная Авдотья Максимовна спешит в церковь, чтобы на дороге встретить Вихорева и объявить отрадную новость, а Вихорев увозит ее... Из хода дела оказывается, что Вихорев увез Авдотью Максимовну насильно, и это обстоятельство представляется очень важным для старика Русакова. Но для нас оно не так важно, потому что мы видим в комедии сцену увезенной девушки с Вихоревым на постоялом дворе. Из этой сцены мы с достоверностью можем заключить, что если Вихорев и насильно посадил Авдотью Максимовну в коляску, то он сделал это единственно по скоро-

сти времени, но что она и сама не могла бы устоять против Вихорева, если бы он стал ее уговаривать. И на постоялом дворе она сначала упрасивает: «Виктор Аркадьич, голубчик! с вами я в огонь и в воду готова, только пустите меня к тятеньке... Что с ним будет?» и пр. Но мольбы ее исчезают пред волею Вихорева. Стал он ее уговаривать да приласкал немножко, и вот что она уже говорит ему: «Ненаглядный ты мой! Радость, жизнь моя! Куда хочешь – с тобой! *Никого я теперь не боюсь, и никого мне не жалко.* Так бы вот улетила с тобой куда-нибудь!» Вслед за тем она опять вспоминает об отце и опять, разумеется, бесплодно. Ей, видите, страшно было решиться уехать с Вихоревым; но, раз попавши к нему в руки, она точно так же боится и от него уйти. Ни разу не проявилась в ней сильная решимость, свидетельствующая о самостоятельности характера. Кроткая жалоба, смиренная мольба – дальше этого она не смеет идти. Когда Вихорев отталкивает ее от себя, узнавши, что за ней денег не дают, она как будто возмущается несколько и говорит: «Не будет вам счастья, Виктор Аркадьич, за то, что вы

надругались над бедной девушкой». Но тотчас же она сама пугается своих слов и переходит к смиренному тону, в котором даже хочется предположить иронию, как она ни неуместна в положении Авдотьи Максимовны. Доброта, лишенная всякой способности возмущаться злом, и тупая покорность судьбе выражаются в этих словах несчастной девушки: «Бог вас накажет за меня, а я вам зла не желаю. Найдите себе жену богатую да такую, чтоб любила вас так, как я; живите с ней в радости, а я, девушка простая, доживу, как-нибудь, скоротаю свой век, в четырех стенах сидя, проклинаяючи свою жизнь». И эта гуманно-патетическая тирада обращена к Вихореву!

А Вихорев думает: «Что ж, отчего и не пошались, если шалости так дешево обходятся». А тут еще, в заключение пьесы, Русаков, на радостях, что урок не пропал даром для дочери и еще более укрепил, в ней принцип повиновения старшим, уплачивает долг Вихорева в гостинице, где тот жил. Как видите, и тут сказывается самодурный обычай: на милость, дескать, нет образца, хочу – казню, хочу – ми-

лую... Никто мне не указ, – ни даже самые правила справедливости.

Так вот каково положение и развитие двух главных лиц комедии «Не в свои сани не садись». Нравится оно вам? Хотели бы вы сами быть на место Авдотьи Максимовны? Или, может быть, вам было бы приятно играть роль Русакова и довести кого-нибудь из близких вам до того положения, в каком представляется нам дочь Максима Федотыча? Если так, то, конечно, вы должны восхищаться патриархальностью, чистотою и счастьем того быта, который изображен Островским в этой комедии. Но если нет, то и эта пьеса должна вам представляться сильным протестом, захватившим самодурство в таком его фазисе, в котором оно может еще обманывать многих некоторыми чертами добродушия и рассудительности.

«Но, – могут сказать нам, – несчастье, происшедшее в семействе Русаковых, есть не более, как случай, совершенно выходящий из ряда обыкновенных явлений их жизни. До приезда Вихорева во всей семье Русаковых была тишь, да гладь, да божья благодать. Ви-

ною всего горя была зараза новых понятий, привезенная с Кузнецкого моста сестрою Русакова – Ариною Федотовной. Сам Русаков говорит ей: «Твое дело, порадуйся! Я ее в страхе воспитывал да в добродетели, и она у меня как голубка была чистая. Ты приехала с заразой-то своей. Только у тебя и разговору-то было, что глупости... все речи-то твои были такие вздорные. Ведь тебя нельзя пустить в хорошую семью: ты яд и соблазн!» И действительно, во всей пьесе представляется очень ярко и последовательно – каким образом этот яд мало-помалу проникает в душу девушки и нарушает спокойствие ее тихой жизни. А в конце изображается опять, как живая сила простых, патриархальных отношений берет верх над язвою современной полуобразованности, возвращает заблудшую дочь в родительский дом и торжествует, в лице Бородкина, восстанавливая ее естественные права в кругу всех ей близких. Такое значение, очевидно, хотел придать пьесе сам автор, и на всех вообще она производит впечатление, не восстанавливающее против старого быта, а примиряющее с ним».

На это мы должны сказать, что не знаем, что именно имел в виду автор, задумывая свою пьесу, но видим в самой пьесе такие черты, которые никак не могут послужить в похвалу старому быту. Если эти черты не так ярки, чтобы бросаться в глаза каждому, если впечатление пьесы раздвояется, — это доказывает только (как мы уже замечали в первой статье), что общие теоретические убеждения автора, при создании пьесы, не находились в совершенной гармонии с тем, что выработала его художническая натура из впечатлений действительной жизни. Но, смотря на художника не как на теоретика, а как на воспроизводителя явлений действительности, мы не придаем исключительной важности тому, каким теориям он следует. Главное дело в том, чтоб он был добросовестен и не искажал фактов жизни в пользу своих воззрений: тогда истинный смысл фактов сам собою выкажется в произведении, хотя, разумеется, и не с такою яркостью, как в том случае, когда художнической работе помогает и сила отвлеченной мысли... Об Островском даже сами противники его говорят, что он всегда верно ри-

сует картины действительной жизни; следовательно, мы можем даже оставить в стороне, как вопрос частный и личный, то, какие намерения имел автор при создании своей пьесы. Положим, что никаких не имел, а так просто – поразил его случай, нередко совершающийся в «темном царстве», которого изображением он занимается, – он взял да и записал этот случай. О смысле его представляется судить публике и критике. Критика решила, что смысл пьесы – указание вреда полуобразованности и восхваление коренных начал русского быта. По нашему мнению, это отчасти неверно, отчасти недостаточно. Настоящий же смысл пьесы вот в чем.

Русаков есть лучший представитель старых начал жизни, начал самодурных. По натуре своей он добр и честен, его мысли и дела направлены ко благу, оттого в семье его мы не видим тех ужасов угнетения, какие встречаем в других самодурных семействах, изображенных самим же Островским. Но это явление совершенно случайное, исключительное: в сущности тех начал, на которых основан быт Русаковых, нет никаких гарантий благо-

состояния. Напротив, уничтожая права личности, ставя страх и покорность основой воспитания и нравственности, эти начала только и могут обуславливать собою произвол, угнетение и обман. Русаков – случайное исключение, и за то первый ничтожный случай разрушает все добро, которое в его семействе было следствием его личных достоинств. Он полагает, что все зло произошло от наущений Арины Федотовны; но ведь это он только сваливает с больной головы на здоровую. Тут опять тот же силлогизм, который не так давно приводился противниками грамотности: «Грамотные мужики – кляузники и плуты; они обманывают неграмотных; следовательно, не нужно учить мужиков грамоте». В правильном своем виде этот силлогизм должен иметь следующий вид: неграмотные мужики обманываются грамотными; следовательно, надо всем мужикам дать средства учиться, чтобы оградить их от обмана. Так и здесь: Арина Федотовна соблазнила и надула дочь Русакова; что из этого? То, что надо было девушке дать средства оградить себя от соблазна. Надо было ей самой – и жизнь раскры-

вать, и людей показывать, и приучать ее к самостоятельности мнений и поступков: девушка развитая и привыкшая к обществу – не поддалась бы пошлой Арине Федотовне и не пленилась бы пустоголовым Вихоревым. Но дать ей настоящее, человеческое развитие значило бы признать права ее личности, отказаться от самодурных прав, идти наперекор всем преданиям, по которым сложился быт «темного царства»: этого Русаков не хотел и не мог сделать. Он добр и умен настолько, чтоб не вдаваться в крайности, чтоб положить предел и меру злоупотреблениям, до которых самодурные права доводят других его собратий. Но в нем нет столько силы ума и характера, чтоб отрешиться от самых главных основ своего быта. Он остановился на данной точке и все, что из нее выходит, обсуждает довольно правильно: он очень верно замечает, что дочь его не трудно обмануть, что разговоры Арины Федотовны могут быть для нее вредны, что невоспитанной купчихе не сладко выходить за барина, и проч. Но во всех его суждениях заметен тот неразумный, тупой консерватизм, который составляет од-

но из отличительных свойств упрямого самодурства. Он остановился на том положении дел, которое уже существует, и не хочет допустить даже мысли о том, что это положение может или должно измениться. Он сознает, что дочь его невоспитанна и собственно потому не годится в барыни, но он не выражает ни малейшего сожаления о том, что не воспитал ее. По его понятиям, уж это так и должно быть: купчиха так купчиха, а барыня – так уж та с тем и родится, чтоб быть барыней. Он сознает и то, что его дочь не умеет различать людей и потому пленяется дрянным вертопрахом Вихоревым. Но это не наводит его на мысль, что надобно было бы хоть несколько приучить ее иметь собственные суждения о вещах. Напротив, – по его убеждению, то-то и хорошо, что она всякого любить будет, кто ни попадись. Право выбирать людей по своему вкусу, любить одних и не любить других может принадлежать, во всей своей обширности, только ему, Русакову, все же остальные должны украшаться кротостью и покорностью: таков уж устав самодурства. При всей своей доброте и уме, Русаков как самодур не

может решиться на существенные изменения в своих отношениях к окружающим и даже не может понять необходимости такого изменения. Все зло происходит в семье оттого, что Русаков, боясь дать дочери свободу мнения и право распоряжаться своими поступками, стесняет ее мысль и чувство и делает из нее вечно несовершеннолетнюю, почти слабоумную девочку. Он видит, что зло существует, и желает, чтобы его не было; но для этого прежде всего надо ему отстать от самодурства, расстаться с своими понятиями о сущности прав своих над умом и волею дочери; а это уже выше его сил, это недоступно даже его понятию... и вот он сваливает вину на других: то Арина Федотовна с заразой пришла, то просто – лукавый попутал. «Враг рода человеческого, – говорит, – всяким соблазном соблазняет нас, всяким прельщением»... И не хочет понять самой простой истины: что не нужно усыплять в человеке его внутренние силы и связывать ему руки и ноги, если хотят, чтоб он мог успешно бороться с своими врагами.

И за это самодурство отца девочка и долж-

на поплатиться всем, что могло бы доставить ей истинно счастливую, сознательную, светлую будущность. Общий взгляд Максима Федотыча на жизнь не мог не отразиться, наперекор его любви, и на развитии дочери. Он умел уберечь ее от всего, что дает человеку средства беречь самого себя, и оттого-то он так плохо уберег ее. Кажется, чего бы лучше: воспитана девушка «в страхе да в добродетели», по словам Русакова, дурных книг не читала, людей почти вовсе не видела, выход имела только в церковь Божию, вольнодумных мыслей о непочтении к старшим и о правах сердца не могла ниоткуда набраться, от претензий на личную самостоятельность была далека, как от мысли – поступить в военную службу... Чего бы, кажется, лучше? Жила бы себе спокойно и ровно по плану, раз навсегда начертанному Русаковым, и ничто бы, кажется, не должно было увлекать и совращать с правого пути это совершенное, кроткое создание, эту голубку безответную. Но шатко, мимолетно и ничтожно все, чему нет основания и поддержки внутри человека, в его рассудке и сознательной решимости. Только те

семейные и общественные отношения и могут быть крепки, которые вытекают из внутреннего убеждения и оправдываются добровольным, разумным согласием всех в них участвующих. Самодурство, даже в лице лучших его представителей, подобных Русакову, не признает этого – и за то терпит жестокие поражения от первой случайности, от первой ничтожной интрижки, даже просто шалости, не имеющей определенного смысла. Что могло быть ничтожнее и бессмысленнее рассуждений Арины Федотовны? Что могло представиться пошлее и нелепее Вихорева Авдотье Максимовне? И однако же эти две пошлости расстраивают всю гармонию семейного быта Русаковых, заставляют отца проклинать дочь, дочь – уйти от отца и затем ставят несчастную девушку в такое положение, за которым, по мнению самого Русакова, следует не только для нее самой горе и бесчестье на всю жизнь, но и общий позор для целой семьи. И в самодурном быте, с его патриархальными обычаями, не находится в этом случае даже силы «примирения, потому что здесь нарушена не только формальность целомудрия, но и

принцип повиновения... Для восстановления прав невинной, но опозоренной девушки нужна великодушная выходка Бородкина, совершенно исключительная и несообразная с нравами этой среды, которой неразвитость и самодурство обуславливают как чрезвычайную легкость проступка Авдотьи Максимовны, так и невозможность примирения.

Таким образом, мы можем повторить наше заключение: комедией «Не в свои сани не садись» Островский намеренно, или ненамеренно, или даже против воли показал нам, что пока существуют самодурные условия в самой основе жизни, до тех пор самые добрые и благородные личности ничего хорошего не в состоянии сделать, до тех пор благосостояние семейства и даже целого общества непрочны и ничем не обеспечено даже от самых пустых случайностей. Из анализа характера и отношений Русакова мы вывели эту истину в приложении к тому случаю, когда порядочная натура находится в положении самодура и отуманивается своими правами. В других комедиях Островского мы находим еще более сильное указание той же истины

в приложении к другой половине «темного царства», – половине зависимой и угнетенной.

И к Русакову могли иметь некоторое применение стихи, поставленные эпитафией этой статьи: и он имеет добрые намерения, и он желает пользы для других, но «напрасно просит о тени» и иссыхает от палящих лучей самодурства. Но всего более идут эти стихи к несчастным, которые, будучи одарены прекраснейшим сердцем и чистейшими стремлениями, изнемогают под гнетом самодурства, убивающего в них всякую мысль и чувство. О них-то думая, мы как раз вспоминали:

Напрасно пророка о тени он просит:

Его лишь песок раскаленный заносит,

Да коршун хохлатый, степной нелюдим,

Добычу терзает и щиплет над ним{38}.

IV

*Это все больше от необузданности, а
то и от глупости.*
Островский{39}

В горькой доле дочери Русакова мы видим много неразумного; но там впечатление смягчается тем, что угнетение все-таки не столь грубо тяготеет над ней. Гораздо более нелепого и дикого представляют нам в судьбе своей угнетенные личности, изображенные в комедии «Бедность не порок».

«Бедность не порок» нам очень ясно представляет, как честная, но слабая натура глохнет и погибает под бессмыслием самодурства. Гордей Карпыч Торцов, отец Любви Гордеевны, брат Любима Торцова и хозяин Мити, — есть уже самодур в полном смысле. Он и крут, и горд, и рассудка не имеет, по отзыву жены его, Пелагеи Егоровны. Целый дом дрожит перед ним. Особенно грозен сделался он с тех пор, как подружился с Африканом Савичем Коршуновым и стал «перенимать новую моду». На этой дружбе и пристрастии Гордея

Карпыча к новой моде и основана завязка комедии. Читатель помнит, конечно, что Торцов хочет выдать за Африкана Савича дочь свою, которая любит приказчика Митю и сама им любима... На этом основании критика предположила, что «Бедность не порок» написана Островским с той целью, чтобы показать, какие вредные последствия производит в купеческой семье отступление от старых обычаев и увлечение новой модой... За это, с одной стороны, неумеренно превозносили Островского, с другой – беспощадно бранили. Мы не станем спорить ни с теми, ни с другими критиками и не станем разбирать справедливости их предположения. Положим даже, что у Островского действительно была та мысль, какую ему приписывали: нас это мало теперь занимает. Для нас гораздо интереснее то, что в Гордее Торцове является нам новый оттенок, новый вид самодурства: здесь мы видим, каким образом воспринимается самодуром образованность, т. е. те случайные и ничтожные формы ее, которые единственно и доступны его разумению. Об этом мы и поговорим теперь.

Самодурство и образование – вещи сами по себе противоположные, и потому столкновение между ними, очевидно, должно кончиться подчинением одного другому: или самодур проникнется началами образованности и тогда перестанет быть самодуром, или образование сделает слугою своей прихоти, причем, разумеется, останется прежним невеждою. Последнее произошло с Гордеем Карпычем, как бывает почти со всеми самодурами. Он никак не предполагает, что первый шаг к образованности делается подчинением своего произвола требованиям рассудка и уважением тех же требований в других. Ему, напротив, кажется, что всякая образованность, всякая логика существует только затем, чтобы служить к совершеннейшему исполнению его прихотей. Оттого он и понимает только грубо материальную, чисто внешнюю сторону образования. «Что они, – говорит, – пьют-то по необразованию своему! Наливки там, вишневки разные – а не понимают того, что на это есть шампанское!» «А за столом-то какое невежество: молодец в поддевке прислуживает либо девка!» «Я, – гово-

рит, – в здешнем городе только и вижу невежество да необразование; для того и хочу в Москву переехать, и буду там *моду всякую подражать*». Находя, что в этом-то подражании и состоит образованность, он пристаёт к жене, чтоб та на старости лет надела чепчик вместо головки, задавала модные вечера с музыкантами, отстала от всех своих старых привычек. Но он не видит никакой надобности изменить свои отношения к домашним, дать здравому смыслу хотя какое-нибудь участие в своем семейном быте. Требовательность Гордея Карпыча стала больше, а простора для деятельности всех окружающих он не дает по-прежнему. Жена жалуется, что с ним «нельзя створить, при его крутом-то характере», особенно после того, как *перенял* эту образованность. «То все-таки рассудок имел, – говорит про него Пелагея Егоровна, – а тут уж совсем у него помутилось»... Даже о судьбе дочери жена не смеет ничего сказать ему: «Смотрит зверем, ни словечка не скажет, – точно я и не мать... Да, право... ничего я ему сказать не смею; разве с кем поговоришь с посторонним про свое горе, поплачешь, душу отведешь,

только и всего»... Отношения Гордея Карпыча ко всем домашним тоже грубы и притеснительны в высшей степени. От дочери он только и требует, чтобы из его воли не смела выходить. На просьбу ее не выдавать ее за Коршунова, он отвечает: «Ты, дура, сама не понимаешь своего счастья... Одно дело – ты будешь жить на виду, а не в этакой глуши; а другое дело – я так приказываю». И дочь отвечает: «Я приказу твоего не смею послушаться», Приказчика Митю Гордей Карпыч ругает бесцеремонно и совершенно напрасно. Узнавши, что он посылает матери деньги, Торцов замечает: «Себя-то бы образил прежде: матери-то не бог знает что нужно, не в роскоши воспитана; сама, чай, хлевы затворяла»... В глазах Гордея Карпыча это большое преступление: матери деньги посылает человек, а себе сюртука нового не сошьет... А между тем Торцов и не думает прибавить жалованья усердному приказчику, на что даже сам кроткий Митя жалуется: «Жалованье маленькое от Гордея Карпыча, все обида да брань, да все бедностью попрекает, точно я виноват... а жалованья не прибавляет». Вообще – грубость и

необузданность беспрестанно и очень сильно проявляются в Гордее Карпыче. Входя в комнату приказчиков, которые поют песни, он кричит: «Что распелись! Горланят точно мужичье!..» и начинает ругаться... Во втором акте, когда Пелагая Егоровна устроила вечеринку и позвала ряженных, вдруг вбегают Арина, говорит: «сам приехал», – и все присутствующие, встают в перепуге. Гордей Карпыч входит и действительно – здоровается с женой и гостями следующим приветствием: «Это что за сволочь! Вон! Жена, принимай гостя!..» Гость этот – Африкан Савич, и он-то уж сдерживает несколько порывы гнева Гордея Карпыча... Ясно, что даже та внешность образования, которая выражается в манерах и приличиях, не далась Гордею Карпычу. Он мог надеть новый костюм, завести новую *небель*, пристраститься к *шемпанскому*; но в своей личности, в характере, даже во внешней манере обращения с людьми – он не хотел ничего изменить и во всех своих привычках он остался верен своей самодурной натуре, и в нем мы видим довольно любопытный образчик того, каким манером на всякого самодура

действует образование. Казалось бы – человек попал на хорошую дорогу: сознал недостатки того образа жизни, какой вел доселе, исполнился негодованием против невежества, понял превосходство образованности вообще... Утешительное явление! Положим, что все это в нем еще смутно, слабо, неверно; но все-таки начало сделано, застой потревожен, деятельность получила новое направление... Быть может, он пойдет и дальше по этому пути, и нрав его смягчится, вся жизнь примет новый характер... Нет, не дожидайтесь... Во всяком другом образовании возбуждает симпатические стремления, смягчает характер, развивает уважение к началам справедливости и т. д. Но в самодуре само просвещение, сама логика, сама добродетель принимает свой, дикий и безобразный, вид. Отправляясь от той точки, что его произвол должен быть законом для всех и для всего, самодур рад воспользоваться тем, что просвещение приготовило для удобств человека, рад требовать от других, чтоб его воля выполнялась лучше, сообразно с успехами разных знаний, с введением новых изобретений и пр. Но только на этом

он и остановится. Не ждите, чтоб он сам на себя наложил какие-нибудь ограничения вследствие сознания новых требований образованности; не думайте даже, чтоб он мог проникнуться серьезным уважением к законам разума и к выводам науки: это вовсе не сообразно с натурою самодурства. Нет, он постоянно будет смотреть свысока на людей мысли и знания, как на чернорабочих, обязанных готовить материал для удобства его произвола, он постоянно будет отыскивать в новых успехах образованности предлоги для предъявления новых прав своих и никогда не дойдет до сознания обязанностей, налагаемых на него теми же успехами образованности. Иначе и не может он поступать, не переставая быть самодуром, так как первое требование образованности в том именно и состоит, чтобы отказаться от самодурства. А отказаться от самодурства для какого-нибудь Гордея Карпыча Торцова значит – обратиться в полное ничтожество. И вот он тешится над всеми окружающими: колет им глаза их невежеством и преследует за всякое обнаружение ими знания и здравого смысла. Он узнал, что образованные

девушки хорошо говорят, и упрекает дочь, что та говорить не умеет; но чуть она заговорила, кричит: «Молчи, дура!» Увидел он, что образованные приказчики хорошо одеваются, и сердится на Митю, что у того сюртук плох; но жалованьишко продолжает давать ему самое ничтожное... Таков он и во всей своей жизни, и в раскрытии этого-то отношения самодурства к образованности заключается для нас главный интерес лица Гордея Карпыча. Мы вовсе не понимаем, каким образом некоторые критики могли вывести, что в этом лице и вообще в комедии «Бедность не порок» Островский хотел показать вредное действие новых понятий на старый русский быт... Из всей комедии ясно, что Гордей Карпыч стал таким грубым, страшным и нелепым не с тех пор только, как съездил в Москву и перенял новую моду. Он и прежде был, в сущности, такой же самодур; теперь только прибавилось у него несколько новых требований...

Под влиянием такого человека и таких отношений развиваются кроткие натуры Любови Гордеевны и Мити, представляющие со-

бою образец того, до чего может доходить обезличение и до какой совершенной неспособности и самобытной деятельности доводит угнетение даже самую симпатичную, самоотверженную натуру. Митя способен к жертвам: он сам терпит нужду, чтобы только помогать своей матери; он сносит все грубости Гордея Карпыча и не хочет отходить от него, из любви к его дочери; он, несмотря на гнев хозяина, пригревает в своей комнате Любима Торцова и дает ему даже денег на похмелье. Словом, у Мити так много самоотвержения, что, кажется, ему всякие жертвы, всякие опасности должны быть нипочем... Не меньшей добротой отличается и Любовь Гордеевна. А уж как она любит Митю – этого и сказать нельзя: кажется, душу за него отдала с радостью... Будь это люди нормальные, с свободной волей и хоть с некоторой энергией, – ничто не могло бы разлучить их, или по крайней мере разлука эта не обошлась бы без тяжелой и страшной борьбы. Но посмотрите, как разыгрывается вся история в семействе Торцова. При самом объяснении в любви, собираясь просить благословения у отца, Лю-

бовь Гордеевна говорит Мите: «А ну как тятенька не захочет нашего счастья, – что тогда?» Митя отвечает: «Что загадывать вперед? Там – как бог даст. Не знаю, как тебе, а мне без тебя жизнь не в жизнь». Любочка ничего не находит ответить на эти слова. Как ясно рисуется здесь бессилие и забитость молодых людей! Они боятся даже подумать о каком-нибудь самостоятельном шаге, стараются прогнать от себя даже мысль о предстоящих препятствиях. Она с ужасом говорит: «Что будет, если тятенька не согласится?» – а он вместо ответа: «Как бог даст!..» Ясно что они не в состоянии исполнить своих намерений, если встретят хоть малейшее препятствие. И действительно, – в этот самый вечер является Гордей Карпыч с Коршуновым, приказывает дочери ласкать и целовать его и объявляет, что это ее жених. Пелагея Егоровна приходит в ужас и в каком-то бессознательном порыве кричит, схватывая дочь за руки: «Моя дочь, не отдам! батюшка, Гордей Карпыч, не шути над материнским сердцем! перестань... истомил всю душу». Но Гордей Карпыч грозно вопиет: «Жена! ты меня знаешь: у меня сказа-

но – сделано», – и жена умолкает. Начинает теперь дочь свою оппозицию. Начинает она тем, что падает отцу в ноги и говорит: «Тятенька! я приказа твоего не смею послушаться... Тятенька! не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь! Передумай, тятенька! Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня против сердца замуж идти за немилого». Кончается же оппозиция том, что на суровый отказ отца невеста отвечает: «Воля твоя, батюшка», – кланяется и отходит к матери, а Коршунов велит девушкам петь свадебную песню... Борьба оказалась не очень упорною и продолжительною; но даже и такое проявление личных своих желаний очень много значит в Любви Гордеевне. Только крайность огорчения, только тяжелая душевная мука могла заставить ее раскрыть рот для произнесения слов, не согласных с волею родителя. Но и тут – какие слова: «передумай!», «не захоти!». Какое жалкое положение: не иметь даже ни малейшего помышления о возможности сделать что-нибудь самому, полагать всю надежду на чужое решение, на чужую милость, в то время как нам грозит кров-

ная беда... Каково должно быть извращение человеческой природы в этом ужасном семействе, когда даже чувство самосохранения принимает здесь столь рабскую форму!..

Третий акт комедии открывается тем, что воля Гордея Карпыча совершилась: гости пируют на помолвке его дочери с Африканом Саввичем. Старая служанка Арина ругает жениха и тоскует об участи невесты; Пелагея Егоровна жалуется на свое горе, что дочка у ней погибает; Митя приходит прощаться: он решил уехать к матери от своей напасти. Слезы и жалобы Пелагеи Егоровны выводят его, однако, из себя, и он начинает ей колоть глаза ее трусостью и бессилием. «Не на кого, – говорит, – вам плакаться: сами отдаете. Чем плакать-то, не отдавали бы лучше. За что девичий век заедаете, в кабалу отдаете? Нешто это не грех?» и пр. У Пелагеи Егоровны один ответ: «Знаю я все, да не моя воля; а ты бы, Митя, лучше пожалел меня».. Тут Митя приходит в умиление и рассказывает ей про свою любовь, а она замечает: «Ах ты, сердечный! Экой ты горький паренек-то, как я на тебя посмотрю!..» Она сожалеет об его горе, как о та-

ком, которого никакими человеческими средствами отворотить уж невозможно, – как будто бы она услышала, например, о том, что Митя себе руки обрубил, или – что мать его умерла... Но вот и сама Любовь Гордеевна приходит; у Мити расходилось сердце до того, что он предлагает Пелагее Егоровне снарядить дочку потеплее к вечеру, а он ее увезет к своей матушке, да там и повенчаются. Решение это очень смело, но оно не составляет обдуманного, серьезного плана, и ему суждено погибнуть так же скоро, как оно зародилось. Сам Митя характеризует свой порыв такою фразой: «Эх, дайте душе простор, – разгуляться хочет! По крайности, коли придется и в ответ идти, так уж зато буду знать, что потешился». Итак, это отчаянная, безумная вспышка, к каким бывают в некоторые мгновения способны самые робкие люди. Но у Мити нет силы поддержать свое требование и, встретив отказ от матери и от дочери, он довольно скоро и сам отказывается от своего намерения, говоря: «Ну, знать, не судьба». А Любовь Гордеевна – та уж вовсе убита, так что не может допустить даже и мысли о согласии на

предложение Мити... И не мудро: она ведь гораздо ближе к Гордею Карпычу, гораздо более подвергалась влиянию его самодурства, нежели Митя. Оттого она безропотно решается на всякие муки, только чтоб не выступить из отцовского приказа. «Нет, Митя, не бывать этому, – говорит она: – не томи себя понапрасну, не надрывай мою душу... И так мое сердце все изныло во мне... Поезжай с богом». И Митя отходит, зная, что «Любови Гордеевне за Коршуновым не иначе как погибать надобно»; и она это знает, и мать знает – и все тоскливо и тупо покоряются своей судьбе... До такой степени гнет самодурства исказил в них человеческий образ, заглушил всякое самобытное чувство, отнял всякую способность к защите самых священных прав своих, прав на неприкосновенность чувства, на независимость сердечных влечений, на наслаждение взаимной любовью!..

И ведь если бы еще в самом деле сила неодолимая, натура высшего разряда тяготела над этими несчастными! А то вовсе нет!.. Гордей Карпыч не только крайне ограничен в своих понятиях, но еще и труслив и слабоду-

шен. Это опять-таки – неотъемлемое, неизбежное свойство самодурства. Самодур дурит, ломается, артачится, пока не встречает себе противодействия или пока противодействие робко и нерешительно... Но у него нет такой точки опоры, которая могла бы поддержать его в серьезной и продолжительной борьбе. Он требует и приказывает, но сам хорошенько не понимает ни настоящего смысла своих приказаний, ни того, на чем они основаны... Кроме того, в нем есть всегда неопределенный, смутный страх за свои права: он чувствует, что многих своих претензий не может оправдать никаким правом, никаким общим законом... Боясь, чтобы другие этого не заметили, он употребляет обыкновенную меру – запугиванье. Известно, как скрывается под этой мерою всякая ничтожность, фальшь, нечистота, словом – несостоятельность всякого рода. Учитель, не довольный сведущий, старается быть строже с учениками, чтобы те его не спрашивали ни о чем. Начальник, не понимающий дела или нечистый на руку, старается напустить на себя важность, чтобы подчиненные не дерзали слишком смело су-

дить о нем. Барин, не имеющий никакого действительного достоинства, старается взять суровостью и грубостью пред лакеем... Благодаря общей апатии и добродушию людей такое поведение почти всегда удается: иной и хотел бы спросить отчета – как и почему? – у начальника или учителя, да видит, что к тому приступу нет, так и махнет рукой... «Э, – скажет, – ну его! Еще обругает ни за что ни про что!» И вследствие такого рассуждения наглая, самодурная глупость и бесчестность продолжают безмятежно пользоваться всеми выгодами своей наглости и всеми знаками видимого почета от окружающих. Всеобщая потачка возвышает гордость самодура и даже действительно придает ему силы. Она вознаграждает для него отсутствие сознания о своем внутреннем достоинстве. Так, господин, вывозящий мусор из города, мог бы, несмотря на совершенную бесценность этого предмета, заломить за него непомерные деньги, если бы увидел, что все окрестные жители по непонятной иллюзии придают ему какую-то особенную цену... Но только на подобной иллюзии и держится значение самодура.

Только покажись где-нибудь сильный и решительный отпор, – сила самодура падает, он начинает трусить и теряться. На первый раз еще у него станет храбрости и упрямства, и это объясняется даже просто привычкой: привыкши встречать безмолвное повиновение, он с первого раза и поверить не хочет, чтобы могло явиться серьезное противодействие его воле. Вследствие того, считая сначала за следствие недоразумения всякий голос, имеющий хоть тень намерения ограничить его самовольство, он раздражается взрывом бешенства, пытается запугать еще больше, чем прежде пугал, и этим средством по большей части успевает смирить или заглушить всякое недовольство. Но чуть только он увидит, что его сознательно не боятся, что с ним идут на спор решительный, что вопрос ставится прямо – «погибну, но не уступлю», – он немедленно отступает, смягчается, умолкает и переносит свой гнев на другие предметы или на других людей, которые виноваты только тем, что они послабее. Всякий, кто учился, служил, занимался частными комиссиями, вообще имел дела с людьми, – натыкался, вероятно,

не раз в жизни на подобного самодура и может засвидетельствовать практическую справедливость наших слов. Бойтесь сказать *мимоходом* слово вопреки сердитому и бестолковому начальнику: вас ждет поток бранных слов и угрожающих жестов, крайне оскорбительных. Мало того, – вас и впоследствии будет преследовать неблагоприятное мнение начальника: вы либерал, вы непочтительны к начальству, голова ваша набита фанаберией... Но если вы хотите служить и вести дела честно не бойтесь вступать в серьезный, решительный спор с самодурами. Из ста случаев в девяноста девяти вы возьмете верх. Только решитесь заранее, что вы на полуслове не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы от того угрожала вам действительная опасность – потерять место или лишиться каких-нибудь милостей. Первая ваша попытка заикнуться о вашем мнении будет предупреждена возвышением голоса самодура; но вы все-таки возражайте. Возражение ваше встречено будет бранью или выговором, более или менее неприличными, смотря по важности и по привычкам лица, к которому вы обращаете-

тес. Но вы не смущайтесь: возвышайте ваш голос наравне с голосом самодура, усиливайте ваши выражения соразмерно с его речью, принимайте более и более решительный тон, смотря по степени его раздражения. Если разговор прекратился, возобновляйте его на другой и на третий день, не возвращаясь назад, а начиная с того, на чем остановились вчера, – и будьте уверены, что ваше дело будет выиграно. Самодур возненавидит вас, но еще более испугается. Он рад будет прогнать и погубить вас, но, зная, что с вами много хлопот, сам постарается избежать новых столкновений и сделается даже очень уступчив: во-первых, у него нет внутренних сил для равной борьбы начистоту, во-вторых, он вообще не привык к какой бы то ни было последовательной и продолжительной работе, а бороться с человеком, который смело и неотступно пристает к вам, – это тоже работа немалая...

Итак, Гордей Карпыч в качестве самодура очень слабодушен и вовсе не имеет выдержки в своем характере. Все качества действительно сильной природы заменяются у него необузданным произволом да тупоумным

упрямством. Вот чем объясняется и оправдывается видимая неожиданность развязки, которую дал Островский комедии «Бедность не порок». При появлении этой комедии все критики восстали на автора за произвольность развязки. Внезапная перемена Гордея Карпыча, его ссора с Африканом Савичем и внимание к требованиям Любима Торцова показались всем неестественными. Да тут же еще, кстати, хотели видеть со стороны автора навязывание какого-то великодушия Торцову и как будто искусственное облагораживание его личности. Теперь, кажется, не нужно доказывать, что таких намерений не было у Островского: характер его литературной деятельности определился, и в одном из последующих своих произведений он сам произнес то слово, которое, по нашему мнению, всего лучше может служить к характеристике направления его сатиры. Преследование самодурства во всех его видах, осмеивание его в последних его убежищах, даже там, где оно принимает личину благородства и великодушия, – вот, по нашему убеждению» настоящее дело, на которой постоянно устремляется та-

лант Островского, даже совершенно независимо от его временных воззрений и теоретических убеждений. В трех комедиях его изображаются порывы великодушия у самодуров, и каждый раз они являются глупыми, ненужными или обидными. В «Не в своих санях» Русаков, разжалобившись над дочерью, тоже великодушно изменяет свое решение и соглашается выдать ее за Вихорева. Спрашивается: зачем? с какой стати? Ведь он, по-видимому, вполне убежден, что замужество с Вихоревым составит гибель его дочери. За несколько минут ранее он даже доказывает это довольно резонно; за несколько минут он выказывает свою твердость, угрожая лишить дочь своего благословения в случае непослушания. А тут вдруг великодушная уступка! Чем она вызвана? Отчасти добротой сердца и отцовской любовью; но всего более совершенным отсутствием прочных основ для принятого им прежде решения. Человек, знающий, что он делает, и любящий свое дело, не отстанет от него по минутному капризу. Тот же Русаков не решится сбрить себе бороду или надеть фрак, как бы его дочь ни убивалась из-за это-

го. А относительно судьбы дочери у него нет в голове даже таких прочно сложившихся и вполне определенных убеждений, как насчет бороды и фрака. Оттого-то и возможно для него в решении о вей такое легкомыслие, которое в глазах некоторых представляется даже умилительным великодушием, так же, как и уплата долга за Вихорева!..

Тою же неразумностью отличается и великодушие Торцова. Он души не чает в своем будущем зяте Африкане Савиче. «Можешь ли ты меня теперь понимать?» – спрашивает он, и ничего, кажется, не желает более, как только того, чтобы зятюшка его понял. Чтобы угодить ему и скрепить свою дружбу с ним, Торцов жертвует дочерью, презирает ее мольбы и слезы матери, даже сам, видимо, унижается и позволяет ему обходиться с собой несколько свысока. Но вот Любим Торцов начинает обижать нареченного зятя, зять обижен и дает это заметить Гордею Карпычу довольно грубо, заключая свою речь словами; «Нет, теперь *ты* приди ко мне да покланяйся, чтоб я дочь-то твою взял». Этих слов довольно, чтобы взбесить Гордея Карпыча. Он вспльчиво

спрашивает: «Я к тебе пойду кланяться?» А Коршунов подливает масла в огонь, говоря! «Пойдешь, я тебя знаю. Тебе нужно свадьбу сделать, хоть в петлю лезть, да только б весь город удивить, а женихов-то нет... Вот несчастье-то твое». Этими словами Коршунов совершенно портит свое дело: он употребил именно ту форму, которой самодурство никак не может переносить и которая сама опять-таки есть не что иное, как нелепое порождение самодурства. Один самодур говорит: «Ты не смеешь этого сделать»; а другой отвечает: «Нет, смею». Тут спор идет уж о том, кто кого передурит. И если один из спорящих чего-нибудь добивается от другого, то, разумеется, победителем останется тот, от которого добиваются: ему ведь тут и труда никакого не нужно: стоит только не дать, и дело с концом. Так происходит и здесь. Выслушав «не смеешь» Коршунова, Гордей Карпыч говорит: «Опосля этого, когда ты такие слова говоришь, я сам тебя знать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдам. С деньгами, что я за ней дам, всякий – человек будет. Вот за Митьку

отдам!» И в порыве гнева он несколько раз повторяет: «Да, за Митьку отдам! Назло ему за Митрия отдам!..» Коршунов уходит в ярости, а домашние все удивлены, принимая слова Гордея Карпыча за серьезное решение: до такой степени приучены они к неразумности всех его поступков. Митя, с наивностью загнанного юноши, очень доверчиво и очень плохо понимающего истинный смысл всего, что вокруг него происходит, даже обращается к Торцову с следующей речью: «Зачем же назло, Гордей Карпыч? Со злом такого дела не делают! Мне назло не надобно-с. Лучше уж я всю жизнь буду мучиться. Коли есть ваша такая милость, так уж вы благословите нас как следует, по-родительски, с любовью»... Но эти наивные слова возбуждают, разумеется, гневное изумление в Торцове, который и не думал говорить серьезно об отдаче дочери за Митю. «Что, что! – вскрикивает он. – Ты уж и рад случаю! Да как *ты смел* подумать-то? Что они, ровня, что ль, тебе? С кем *ты говоришь*, вспомни!..» Митя становится перед ним на колени, но это смирение не обезоруживает Гордея Карпыча: он продолжает ругаться. Прось-

бы дочери и жены тоже остаются бессильны. Но тут-то является им на помощь Любим Торцов, – озорник, с которым Гордей Карпыч уж достаточно повозился и никакого ладу не нашел. Любим говорит ему то же, что и Коршунов: «Да ты поклонись в ноги Любиму Торцову, что он тебя оконфузил-то», – и Пелагея Егоровна прибавляет: «Именно, Любимушка, надо тебе в ноги поклониться»... Можно бы ожидать, что Гордей Карпыч, назло домашним, опять упрется и выдумает еще что-нибудь *назло*. Но он только спрашивает в недоумении: «Что ж я, изверг, что ли, какой в своем семействе?» Из этого вы уже замечаете, что его начинает пробирать великодушие. Раз он уже поставил на своем, прогнав Коршунова, и, следовательно, самолюбие его удовлетворено покамест. К тому же, он уж и утомлен напряжением, которое сделал, и не в состоянии теперь снова собрать ту же энергию для другой борьбы. А тут, вместе с кроткими мольбами жены, допекают его рассуждения и назойливые просьбы брата Любима, который говорит с ним смело и решительно, без всяких умолчаний, подкрепляя просьбы свои доказатель-

ствами, взятыми из собственного опыта. Гордей Карпыч как будто затуманивается; он смотрит вокруг себя и не знает, как ему все это понимать и что делать; он ищет внутри себя – на чем бы опереться в борьбе, и ничего не находит, кроме своей самодурной воли. Она-то и высказывается в последнем его возражении: «Ты мне что ни говори, а я тебя слушать не хочу»... Но Любим не придает особенной важности такому возражению и продолжает свои настояния. Гордей Карпыч окончательно сбит с толку и обессилен; сознание всего окружающего решительно мутится в его голове; он никак не может отыскать своих мыслей, которые никогда и не были крепко связаны между собой, а теперь уж совсем разлетелись в разные стороны. В эту критическую минуту он позволяет себе раскваситься, его прошибает слеза, и он, благодаря брата Любима за назидание, благословляет будущее счастье детей своих... Пользуясь его расположением, и племянник его, Гуслин, которому Торцов запрещал жениться, просит разрешения и получает его... Гордей Карпыч говорит: «Теперь просите все, кому что нужно; теперь

я стал другой человек!..»

Какой широкий размах великодушия, подумаешь!.. Так и чуешь какого-то восточного султана, который говорит: «Всё в моей власти! Стоит мне мигнуть, и с тебя голову снимут; стоит сказать слово, и неслыханно роскошные дворцы вырастут для тебя из земли. Проси, чего хочешь! полмира могу я взять и подарить, кому хочу»... Разница только в размерах, а сущность дела та же самая в словах Торцова. Дай ему какой-нибудь калифат, он бы и там стал распоряжаться так же точно, как теперь в своем семействе. Дурил бы, презирая все человеческие права и не признавая других законов, кроме своего произвола, а подчас удивлял бы своим великодушием, основанным опять-таки на той мысли, что «вот, дескать, смотрите: у вас прав никаких нет, а на всем моя полная воля: могу казнить, могу и миловать»!.. Счастливы мы, читатель, что живем в настоящее время, когда у нас порывы подобного великодушия невозможны!.. Ими можно пользоваться в известные минуты, как воспользовались Митя и Любовь Гордеевна: их дело выиграно, хотя Гордей Кар-

пыч, разумеется, и не надолго останется великодушным ж будет после каяться и попрекать их своим решением... Но подобные выигрыши ненадежны. Когда вы рассчитываете, как устроить свою жизнь, то, конечно, не будете основывать своих расчетов на том, что, может быть, выиграете большое состояние в лотерею. Так точно в разумной сознательной жизни невозможно рассчитывать и на выигрыш великодушия самодура... Пусть лучше не будет этих благородных, широких барских замашек, которыми восторгались старые, до идиотства захолопевшие лакеи; но пусть будет свято и неприкосновенно то, что мне принадлежит по праву; пусть у меня будет возможность всегда употреблять свободно и разумно мою мысль и волю, а не тогда, когда выйдет милостивое разрешение от какого-нибудь Гордея Карпыча Торцова...

Но бессилие и внутреннее ничтожество самодурства не выдается еще в этих комедиях с такой поразительной яркостью, как в небольшой комедии «В чужом пиру похмелье». Здесь есть все – и грубость, и отсутствие честности, и трусость, и порывы великодушия, – и

все это покрыто такой тупоумной глупостью, что даже люди, наиболее расположенные к славянофильству, не могли одобрить Тита Титыча Брускова, а заметили только, что все-таки у него душа добрая... Аграфена Платонова, хозяйка квартиры, где живет учитель Иванов с дочерью, отзывается о Брускове как о человеке «диком, властном, крутом сердцем, словом сказать, – самодуре». На вопрос Иванова: что значит самодур? – она объясняет: «Самодур – это называется, коли вот человек никого не слушает: ты ему хоть кол на голове теши, а он все свое. Топнет ногой, скажет: кто я? Тут уже все домашние ему в ноги должны, так и лежать, а то беда»... Продолжая свою характеристику, она замечает, что «насчет плутовства – он, точно, старик хитрый; но хоть и плутоват, а человек темный. Он только в своем доме свиреп, а то с ним, что хочешь делай, – дурак дураком; на пустом спугнуть можно». И действительно, из пьесы оказывается, что все слова Аграфены Платоновны справедливы. Она же сама, ни с того ни с сего, берет с Брускова, зашедшего в квартиру Ивановых, тысячу целковых за расписку, в кото-

рой сын его, Андрей Титыч, обещается жениться на дочери Иванова. Расписка эта и сама по себе ничего не значит, да Иванов с дочерью и не знают о ней и претензии никакой не имеют; все это сама хозяйка устраивает, желая их облагодетельствовать... Но Брусков, как темный человек, вполне освоившийся, с обычаями «темного царства», не входит ни в какие соображения. Во-первых, он всегда готов к тому, что его обманут, так как он сам готов обмануть всякого. Поэтому, прочитав бумажку, показанную ему Аграфеной Платоновной, он преспокойно замечает: «Это, то есть, насчет грабежу. Ну народец!..» И затем начинает торговаться, нисколько не возмущаясь этой историей, а только удивляясь ловкой штуке, которую сочинили с его сыном. Во-вторых – он ужасно боится всякого суда, потому что хоть и надеется на свои деньги, но все-таки не может сообразить, прав ли он должен быть по суду или нет, а знает только, что по суду тоже придется много денег заплатить. На этом основании, только услышавши от Аграфены Платоновны, что теперь пойдет «дело по делу, а суд по форме», он чешет себе

затылок и говорит: «По форме? Нет, уж лучше мы так, между себя сделаемся». И это ему действительно гораздо легче, уж и потому даже, что подобные сделки для него очень привычны. Он так объясняется с женою на этот счет, возвратись от Ивановых:

ТИТ ТИТЫЧ. Настасья! Смеет меня кто обидеть?

НАСТАСЬЯ ПАНКРАТЬЕВНА. Никто, батюшка, Кит Китыч, не смеет вас обидеть. Вы сами всякого обидите.

ТИТ ТИТЫЧ. Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу. Я за это много денег заплатил на своем веку.

НАСТАСЬЯ ПАНКРАТЬЕВНА. Много, Кит Китыч, много.

ТИТ ТИТЫЧ. Молчи!..

Отсутствие ясного сознания нравственных начал выражается и в обращении, которое Брусков дозволяет себе с Аграфеной Платоновной и с Ивановым, после того как заплатил деньги и получил расписку. Аграфена Платоновна старается его выпроводить, но он усаживается и начинает ругаться, представляя такой резон: «Нет, погоди, – дай хоть по-

ругаться-то за свои деньги». Но, впрочем, это он так только, зло сорвать хочет: в своих ругательствах он не видит ничего оскорбительного, да и сам не задет за живое. Когда приходит Иванов и, ничего не зная о происшедшей истории, с недоумением смотрит на Брускова, Тит Титыч обращается к нему с такой речью: «Ты что на меня смотришь? На мне, брат, ничего не написано. Деньги-то взять умели. Вы меня хоть попотчуйте чем за мои деньги-то». Иванов просит его уйти; он опять начинает ругаться. Иванов гонит его вон, – он возражает: «Что ты кричишь-то? Я ведь ничего, я так – шучу с тобой». Иванов продолжает гнать его, и Брусков подходит к нему и, ударяя его по плечу, говорит: «Поедем ко мне! Выпьем вместе, приятели будем. Что ссориться-то!» Иванов входит в пущий азарт, и Брусков, с неудовольствием замечая: «Ишь ты, какой сердитый!» – уходит с новыми ругательствами... Пришедши домой, он велит Захару Захарычу, пьянчужке-приказному, писать «такое прошение, чтобы троих человек в Сибирь сослать по этому прощению». Я, говорит, «так хочу и никаких денег для этого не пожа-

лею». Но тут приходит Иванов, узнавший, между тем все дело, приносит деньги, взятые Аграфеной Платоновной, и просит назад расписку. Брусков тотчас смекает, что Иванов затем ее просит, чтобы потом за нее больше содрать. Но старик учитель разжалобил его, и он спрашивает: «Аль отдать, Сахарыч, – отдать?» Захар Захарыч говорит: «Ни-ни-ни!» Но Брусков внезапно решает: «А я говорю, что отдать!.. Ты молчи, не смей разговаривать!..» И расписка отдана, и тут же разорвана Ивановым, а через несколько минут Брусков находит, что «деньги и все это – тлен» и что, следовательно, сын его может жениться на дочери Иванова, хоть она и бедна... «Мое слово – закон», – говорит он и посылает сына – сватать дочь учителя. «Да помилуйте, тятенька, он не отдаст, возражает сын. «Я тебе приказываю, слышишь, – говорит Тит Титыч: – как он смеет не отдать, когда я этого желаю?.. Вы не смейте со мной разговаривать, – прибавляет он. – А если не отдаст за тебя, ты лучше мне инк глаза не показывайся!..»

Во всем этом замечательно то, что вся история сама по себе необыкновенно глупа... Ес-

ли смотреть здраво, то все ее участники хотят невозможного, или, лучше сказать, – сами не смыслят, чего они хотят. Аграфена Платонова, не спросясь Ивановых, берёт с Андрея Брускова расписку, а с отца его – деньги. Тит Титыч хочет услатить Ивановых в Сибирь и основывает это на расписке, которую его же выгода требует уничтожить. Иванов убивается, требуя, – даже не уничтожения, а именно *возвращения* расписки, что ему вовсе не нужно, и только возбуждает справедливые подозрения в Брускове... Все это совершенно нелепо и бессмысленно, как сам Брусков и вся его жизнь. Но всего глупее – роль сына Брускова, Андрея Титыча, из-за которого идет вся, эта история и который сам, по его же выражению, «как угорелый ходит по земле» и только сокрушается о том» что у них в доме «все не так, как у людей» и что его «уродом сделали, а не человеком». И в самом деле, – смешно посмотреть, что» с ним делают. Парню уж давно за двадцать, смыслом его природа не обидела: по фабрике отцовской он лучше всех дело понимает, вперед знает, что требуется, кроме того и к наукам имеет склонность, и искус-

ства любит, «к скрипке очень пристрастие имеет», словом сказать – парень совершеннолетний, добрый и неглупый; возрос он до того, что уж и жениться собирается... И вдруг он «от тятеньки скрывается!..» Только слышал, что «сам приехал», – как и кричит: «Маменька, спрячьте меня от тятеньки», – и бежит к матери в спальню прятаться... Какая тому причина? Та, что тятенька его женить задумал насильственным образом... Так он, видите, отбегаться думает!.. И способ-то хороший выбрал!.. А зачем тятенька хочет его женить насильно, на то причина одна: что так он хочет... Мать, впрочем, представляет и другую причину: невеста, найденная отцом, очень богата, а «Вам, – по словам Настасьи Панкратьевны, – надо невесту с большими деньгами – *потому – сами богатые*»... Логика неопровержимая!.. И Андрей Титыч ничего хорошенько не может возразить против нее: он уже доведен отцовским обращением до того, что сам считает себя «просто пропащим человеком». А обращение в самом деле хорошее, если послушать его рассказов Лизавете Ивановне, дочери Иванова. По его словам, у

него «крылья ошибены, то есть обрублены как есть». Жениться он должен не по своему выбору, а по приказу отцовскому. «А коли скажешь, что, мол, тятенька, эта невеста не нравится: а, говорит, в солдаты отдам!.. ну, и шабаш! Да уж не то, что в этом деле, – прибавляет он, – и в другом-то в чем воли не дают. Я вот помоложе был, учиться хотел, так и то не велели!..» Лизавета Ивановна советует ему, выбравши хорошую минуту, рассказать отцу откровенно все – что он способности имеет, что учиться хочет, и т. п. Андрей Титыч отвечает на это: «Он такую откровенность задаст, что места не найдешь. Вы думаете, – он не знает, что ученый лучше неученого? – Только хочет на своем поставить... Один каприз, одна только амбиция, – что вот я неучен, а ты умнее меня хочешь быть».

Ну, скажите, есть ли какая-нибудь возможность вести разумную речь с этими людьми! Отец знает, что ученый лучше неученого, и сыну известно, что отец это знает, и сын хочет учиться, и все-таки отец запрещает, и сын не смеет послушаться! Отец признает себя неучем, сознает, что это дурно, и боится, что-

бы сын его не избежал этого зла!.. Сын знает, что отец только вследствие собственного невежества запрещает ему учиться, и считает долгом покориться этому невежеству!.. Кто разберет эту бессмысленную путаницу, внесенную самодурством в семейные отношения? Кто сумеет бросить луч света в безобразный мрак этой непостижимой логики «темного царства»? Подумаешь, что Андрей Титыч тоже сумасшедший, как его братец Капитоша, который представляет собой еще один любопытный результат семейной дисциплины в доме Брусковых. Но все окружающие говорят, что Андрей Титыч – умный, и он даже сам так разумно рассуждает о своем брате: «Не пускают, – говорит, – меня в театр; ту причину пригоняют, что у нас один брат помешанный от театру; а он совсем не от театру, – *так, с малолетства заколотили очень*»... А Андрюша еще не заколочен и все-таки представляет из себя какого-то поврежденного. Уж примирился бы, что ли, с своим положением, как сотни и тысячи других мирятся! Так нет, – этого не хочет он и тем приводит в отчаяние отца, и мать. Мать сокрушается о нем даже больше,

чем о другом сыне своем – дурачке. Положение Капитоши как-то мало беспокоит ее: оно ей так близко и сродно; она даже потешается над ним, а печалится больше всего лишь о том, что он табачище очень крепкий курит. «Купидоша у нас совсем какой-то ума рехнувший по театру, – объясняет она своей гостье Нениле Сидоровне. – Да табак курит, Ненила Сидоровна, такой крепкий, – просто дышать нельзя. В комнатах такого курить нельзя ни под каким видом, кого хочешь стошнит... Так все больше в кухне пребывает. *Вот иногда скучно, позовешь его, а он-то и давай кричать по-театральному, – ну, и утешаешься на него. С певчими поет басом, – голос такой громкий, так как словно из ружья выпалит*». Стало быть, глупость сына имеет свою приятность для матери!.. Но ум Андрюши внушает ей опасения очень серьезные. «Совсем, – говорит, – от дому отбивается: то не хорошо, другое не по нем, учиться, говорит, хочу... А на что ему много-то знать? *И так боек, а как обучат-то всему, тогда с ним и не оговоришь; он мать-то и уважать не станет; хоть из дому беги*»... Таким образом, доля самодурства

Брускова переходит и к жене его, хоть на словах только, – и Андрюша, при всей своей любви к знанию и при всех природных способностях, должен вырасти неучем, для того чтобы сохранить уважение к отцу и матери. Они, бедняки, чувствуют, что умному-то и образованному человеку не за что уважать их!..

А отчего же Андрей Титыч, коли уж он действительно человек не глупый, не решается в самом деле удовлетворить своей страсти к учению, употребивши даже в этом случае некоторое самовольство? Ведь бывали же на Руси примеры, что мальчики, одержимые страстью к науке, бросали все и шли учиться, не заботясь ни о мнении родных, ни о какой поддержке в жизни... Да, но те мальчики, верно, как-нибудь укрылись от мертвящего влияния самодурства, не были заключены с малолетства; оттого у них и могла развиться некоторая решимость на борьбу с жизнью, некоторая сила воли. От Андрюши и Капитоши Брусовых невозможно требовать ничего подобного. Их, несчастных, колотили в ребячестве, ими помыкают, а подчас потешаются и взрослыми... Где уж тут развиться светлым, неза-

висимым соображениям и могучей решимости? Андрея Титыча только разве на то хватит, чтобы впоследствии бушевать, подобно своему отцу, и дурить над другими, в отместку за то, что другие над ним дурили... Так из поколения в поколение и переходит эта безобразная иерархия, в которой тот, кто выбрался наверх, давит и топчет тех, кто остался внизу. Что же ему делать иначе? На этой сплошной толпе байбаков, поднявших его степенство вверх, он только и держится; Он поневоле должен больше или меньше давить ее собою – иначе сам упадет опять под ноги другим и – чего доброго – будет растоптан... А кому же охота быть растоптанным?

Но тут может представляться вопрос совершенно другого свойства: отчего эти байбаки так упорно продолжают поддерживать над собою человека, который ничего им хорошего, кроме дурного не сделал и не делает? Отчего Митя безответен пред Торцовым, Андрюша терзается, но не смеет слова сказать Титу Титычу и пр.? Отчего целое общество терпит в своих нравах такое множество самодуров, мешающих развитию всякого порядка

и правды? В обществе, воспитанном под влиянием Торцовых и Брусковых, нет решимости на борьбу. Но ведь нельзя не сознаться, что если самодур, сам по себе, внутренне, несостоятелен, как мы видели это выше, – то его значение только и может утверждаться на поддержке других. Значит, тут и особенного героизма не нужно: только не давай ему общество этой поддержки, просто – немножко расступись толпа, сжатая для того, чтобы держать на себе какого-нибудь Торцова или Брускова, – и он сам собою упадет и будет действительно задавлен, если и тут обнаружит претензию на самодурство... Отчего же в обществе столько десятков и сотен лет терпится это бессильное, гнилое, дряхлое явление, давно уже отжившее свой век в сознании лучшей, истинно, образованной части общества? На это есть две важные причины, которые очень ясны из комедии Островского и на которые мы теперь намерены обратить внимание читателей.

*В терпеньи тяготу сноси
И без роптания проси.
Ломоносов{40}*

Первая из причин удерживающих людей от противодействия самодурству, есть – странно сказать – *чувство законности*, а вторая – *необходимость в материальном обеспечении*. С первого раза обе причины, представленные нами, должны, разумеется, показаться нелепостью. По-видимому, совершенно напротив: именно отсутствие чувства законности и беспечность относительно материального благосостояния могут объяснять равнодушие людей ко всем претензиям самодурства. Люди, рассуждающие на основании отвлеченных принципов, Сейчас могут вывести такие соображения: «Самодурство не признает никаких законов, кроме собственного произвола; вследствие того у всех подвергшихся его влиянию мало-помалу теряется чувство законности, и они уже не считают поступков самодура неправыми и возмутительными и

потому переносят их довольно равнодушно. Кроме того, самодурство, при разделе благ всякого рода, постоянно, по своему обычаю, обижает их, пользуясь само львиной долей, а им ничего не оставляя. Если они терпят это, значит у них уже потеряна любовь к собственному благосостоянию, они привыкли к неимению ничего и мало заботятся о том, чтобы выйти из этого положения... При таком равнодушии к материальным интересам всех этих Митей и Андрюш не мудро самодурам помыкать ими по прихоти своей «гнилой фантазии», как выражается Гордей Карпыч».

Такое рассуждение, при всей своей видимой основательности, весьма легкомысленно. Как-таки предположить в людях совершенное уничтожение любви к самому себе, к своему благосостоянию? И отчего же? От того, что кому-то вздумалось взять у меня мое добро!.. Нет, это можно была бы говорить только в таком случае, если бы все, угнетенные самодурами, были очень довольны собой. Но ведь мы видим, что и Митя, и Андрюша, и Капитоша, и Авдотья Максимовна, и Любовь Гордевна – очень недовольны своей судьбой. Ста-

ло, быть, их не беспечность удерживает в их положении, а что-то другое, поглубже... Это другое и есть чувство законности. Не будь этого чувства, т. е. прими угнетенная сторона в самом деле то убеждение, что никакого порядка, никакого закона нет и не нужно, тогда бы и пошло все иначе. Приказания самодуров исполнялись бы только до тех пор, пока они выгодны для исполняющих; а как только Торцов коснулся благосостояния Мити и других приказчиков, они бы нимало не думая, взяли да и «сверзили» его... Ведь их же больше, они сильнее, чем Гордей Карпыч... Но они молчали перед ним именно потому, что он хозяин, что его уважать следует, Самое то, что он их обделяет и обижает, они считают законной принадлежностью его положения... Настасья Панкратьевна ведь без всякой иронии, а, напротив, с заметным оттенком благоговения говорит своему мужу: «Кто вас, батюшка, Кит Китч, смеет обидеть? Вы сами всякого обидите!..»

Очень странен такой оборот дела; но такая уж логика «темного царства». В этом случае, впрочем, именно темнота-то разумения

этих людей и служит объяснением дела. В общем смысле, по-нашему, – что такое чувство законности? Это не есть что-нибудь неподвижное и формально определенное, не есть абсолютный принцип морали в известных, раз на всегда указанных формах. Происхождение его очень просто. Входя в общество, и приобретаю право пользоваться от него известною долею известных благ, составляющих достояние всех его членов. За это пользование я и сам обязываюсь платить тем, что буду стараться об увеличении общей суммы благ, находящихся в распоряжении этого общества. Такое обязательство вытекает из общего понятия о справедливости, которое лежит в природе человека. Но для того чтоб успешнее достигнуть общей цели, т. е. увеличить сумму общего блага, люди принимают известный образ действий и гарантируют его какими-нибудь постановлениями, воспрещающими самовольную помеху общему делу с чьей бы то ни было стороны. Вступая в общество, я обязан принять и эти постановления и обещаться не нарушать их. Следовательно, между мною и обществом происходит некото-

рого рода договор, не выговоренный, не формулированный, но подразумеваемый сам собою. Поэтому, нарушая законы общественные и пользуясь в то же время их выгодами, я нарушаю одну, неудобную для меня, часть условий и становлюсь лжецом и обманщиком. По праву справедливого возмездия, общество может лишитъ меня участия и в другой, выгодной для меня половине условия, да еще и взыскать за то, чем я успел воспользоваться не по праву. Я сам чувствую, что такое распоряжение будет справедливо, а мой поступок несправедлив, – и вот в этом-то и заключается для меня чувство законности. Но я не считаю себя преступным против чувства законности, ежели я совсем отказываюсь от условия (которое, надо заметить, по самой своей сущности не может в этом случае быть срочным), добровольно лишаясь его выгод и за то не принимая на себя его обязанностей. Я, например, если бы поступил в военную службу, может быть дослужился бы до генерала; но зато в солдатском звании я обязывался, по правилам военной дисциплины, делать честь каждому офицеру. Но я не поступаю в воен-

ную службу или выхожу из нее и, отказываясь таким образом от военной формы и от надежды быть генералом, считаю себя свободным от обязательства – прикладывать руку к козырьку при встрече со всяким офицером. А вот мужики в отдаленных от городов местах, – так те низко кланяются всякому встречному, одетому в немецкое платье. Ну, на это уж их добрая воля или, может, особым образом понятое то же чувство законности!.. Мы такого чувства не признаем и считаем себя правыми, если, не служа, не ходим в департамент, не получая жалованья, не даем вычета в пользу инвалидов, и т. п. Точно так сочли бы мы себя правыми, если бы, например, приехали в магометанское государство и, подчинившись его законам, не приняли, однако, ислама. Мы сказали бы: «Государственные законы нас ограждают от тех видов насилия и несправедливости, которые здесь признаны противозаконными и могут нарушить наше благосостояние; поэтому мы признаем их практически. Но нам нет никакой надобности ходить в мечеть, потому что мы вовсе не чувствуем потребности молиться пророку, не

нуждаемся в истинах и утешениях алкорана и не верим магометову раю со всеми его гуриями, следовательно, от ислама ничем, не пользуемся и не хотим пользоваться». Мы были бы правы в этом случае по чувству законности, в его правильном смысле.

Таким образом, законы имеют условное значение по отношению к нам. Но мало этого: они и сами по себе не вечны и не абсолютны. Принимая их как выработанные уже условия прошедшей жизни, мы чрез то никак не обязываемся считать их совершеннейшими и отвергать всякие другие условия. Напротив, в мой естественный договор с обществом входит, по самой его сущности, и обязательство стараться об изыскании возможно лучших законов. С точки зрения общего, естественного человеческого права, каждому члену общества вверяется забота о постоянном совершенствовании существующих постановлений и об уничтожении тех, которые стали вредны или ненужны. Нужно только, чтоб изменение в постановлениях, как клонящееся к общему благу, подвергалось общему суду и получило общее согласие. Если же об-

щее согласие не получено, то частному лицу предоставляется спорить, доказывать свои предположения и, наконец, – отказаться от всякого участия в том деле, о котором настоящие правила признаны им ложными... Таким образом, в силу самого чувства законности устраняется застой и неподвижность в общественной организации, мысли и воле дается простор и работа; нарушение формального status quo нередко требуется тем же чувством законности...

Так понимают и объясняют, чувство законности люди просвещенные, люди, участвующие, подобно нам, в благодеяниях цивилизации. Но не так понимают его те темные люди, которых изображает нам Островский. В его «темном царстве» вопрос ставится совершенно иначе. Там господствует вера в одни, раз навсегда определенные и закрепленные формы. Знания здесь ограничены очень тесным кругом, работы для мысли – почти никакой; все идет машинально, раз навсегда заведенным порядком. От этого совершенно понятно, что здесь дети никогда не вырастают, а остаются детьми до тех пор, пока механически не

передвинутся на место отца. Понятно и то, почему средние термины, посредствующие между самодурами и угнетенными, вовсе не имеют определенной личности, а заимствуют свой характер от положения, в каком находятся: то ползают – перед высшими, то, в свою очередь, задирают нос перед низшими. Точно механические куколки: поставят их на один конец – кланяются; передернут на другой – вытягиваются и загибают голову назад... Настасья Панкратьева исчезает пред мужем, дышать не смеет, а на сына тоже прикрикивает: «как ты смеешь?» да «с кем ты говоришь?» То же мы видели и в Аграфене Кондратьевне в «Своих людях». Та же история повторяется в другой сфере – с Юсовым в «Доходном месте». И все это происходит от недостатка внутренней самостоятельности, от забитости природы. Человеку с малых лет внушают, что он сам по себе – ничто, что он есть некоторым образом только орудие чьей-то чужой воли и что вследствие того он должен не рассуждать, а только слушаться, слушаться и покоряться. Единственный предмет, на который может еще быть направлен его ум, это приобретение

уменья приноровляться к обстоятельствам. Кто сумеет так повернуть себя, тому и благо; он вынырнет... А кто не сумеет, тому беда – задавят..

Вследствие этого-то коснения мысли вся деятельная сторона чувства законности совершенно исчезает в «темном царстве» и остается одна пассивная. Какой-нибудь Тишка затвердил, что надо слушаться старших, да так с тем только и остался, и останется на всю жизнь... В педагогике есть положение, что для детей, не способных еще к отвлеченным понятиям, воспитатель составляет олицетворение нравственного закона, и потому необходимо доверие ребенка к воспитателю. Но обязанность воспитателя, – продолжает потом педагогика, – состоит в том, чтобы как можно скорее сделать себя ненужным для ребенка, приучивши его понимать нравственный закон в его истинной сущности, независимо от авторитета воспитателя. Этого последнего правила боятся, как пожара и разбоя, все обитатели, «темного царства», и все стараются действовать совершенно в противоположном духе. «Слушай старика, – старик

дурно не посоветует,» – говорит даже лучший из них – Русаков, и тоже не признает прав образования, которое научает человека самого, без чужих советов, различать, что хорошо и что дурно. От этого и выходит, что чувство законности только и выражается в чувстве послушания да терпения, а все остальное делается чисто невозможным для обитателя «темного царства», пока он сам не сделается самодуром. Тишка метет полы в доме Большова, бегают за водкой Подхалюзину и крадет целковые у хозяина, – и все это для него совершенно законно... За водкой посылают его старшие, а старших надо слушаться: тут уж резон прямой. Воровать ему не велят; но все равно – воровство тоже освящено старшими: сколько раз приказчики при нем хвалились ловкой штукой, сколько раз приказывали ему молчать об их мошенничестве пред хозяином, сколько раз сам хозяин давал приказчикам наставления, как надуть покупателей!.. Все это не пропало даром для бойкого мальчика – и вот откуда все мерзости, безмятежно уживающиеся в нем с глубочайшим чувством законности... Этим-то средством он

и выбивается из ничтожества, в котором находился, и начинает сам дурить, совершенно с спокойною совестью, считая и самодурство точно так же законным, как и прежнее свое унижение.

Но, разумеется, выбиваются наверх не все, и даже очень немногие: для этого надо иметь довольно крепкую натуру и потом сверхъестественным образом выворотить ее. Надо заглушить в себе все симпатичные чувства, притупить свою мысль, кроме того, – связать себя на несколько лет по рукам и ногам, и при всем этом уметь – и пожертвовать при случае своим самолюбием и личными выгодами, и тонко обделать дельце, и ловкое коленце выкинуть... На это мастеров не очень много... Охотников, правда, бесчисленное множество, да не у всякого есть такая выдержка, какая; напр., была у Павла Ивановича Чичикова – а без выдержки тут ничего не добьешься... Потому-то большая часть людей, попавших под влияние самодура, предпочитает просто терпеть с тупою надеждою, что авось как-нибудь обстоятельства переменятся... Внутренней силы, которая бы возбужда-

ла их к противодействию злу, в них нет, да и не может быть. Потому что они не имели возможности даже узнать хорошенько, в чем зло и в чем добро... Оттого-то именно в них нет и чувства справедливости и сознания высшего нравственного добра, а вместо этого есть только чувство законности, в ее установленном и тесном смысле. Для них поступки и явления жизни разделяются не на хорошие и дурные, а только на позволенные и недозволенные. Что позволено, что скреплено положительным законом или хоть просто приказанием, то для них к хорошо, и наоборот. А на что положительных приказаний нет, о том они находятся в совершенном недоумении. Потому-то всегда и бывают так робки, и медленны шаги их при всяком новом вопросе или явлении, требующем изменения существующего порядка... Тут мучительное беспокойство овладевает забитыми бедняками, под гнетом самодурства лишившимися всякой способности рассуждать. Узнав, что правило, которому они следовали, отменено или само умерло, они решительно не знают, куда им обратиться и за что взяться, – и бывают ужас-

но рады первому встречному, который возьметя вести их. Само собою разумеется, что этот встречный всего чаще бывает плутоватый самодур, и чем плутоватей он, тем гуще повалит за ним толпа «несмышленочков», желающих прожить чужим умом и под чужой волей, хотя бы в самодурной...

Высказанные нами мысли не составляют плод какой-нибудь теории, заранее придуманной: в них просто заключаются выводы, прямо следующие из явлений русского быта, изображенных в комедиях Островского. Без всякого сомнения, художник не имел в виду доказывать тех мыслей, какие мы теперь выводим из его комедий; но они сами собою сказались в его произведениях и сказались удивительно правильно. Лица его комедий постоянно остаются верны тому положению, в которое поставлены самодурным бытом. Ни одним словом не возвышаются они над уровнем этого быта, не изменяют основным чертам их типа, как он сложился в самой жизни. Даже в лучших натурах комедий Островского мы не видим той смелости добра, которой могли бы требовать от них в других обстоя-

тельстввах, но которой именно не может быть в них под цветом самодурства. Едва в слабом зародыше виднеются в них начала высшего нравственного развития; но эти начала так слабы, что не могут служить побуждением и оправданием практической деятельности. Оттого все нравственные основания поступков честных лиц в комедиях, Островского внешни и очень узко ограничены, все вертятся только на исполнении чужой воли, без внутреннего сознания в правоте дела. Так, Авдотья Максимовна, отказываясь бежать с Вихоревым, представляет только ту причину, что отец ее проклянет; а бежавши с ним, сокрушается только о том, что «отец от нее отступится, и весь город будет на нее пальцами показывать». У Любви Гордеевны эта внешность подчинения долгу, не озаренная внутренним убеждением, выражается еще резче. Вот что говорит она Мите в оправдание своей решимости идти за Коршунова: «Теперь из воли родительской мне выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтоб я шла замуж. Должна я ему покориться, — такая наша доля девичья. Так, знать, тому и быть долж-

но, так уж оно заведено исстари. Не хочу я супротив отца идти, чтоб про меня люди не говорили да в пример не ставили. Хотя я, может быть, сердце свое надорвала через это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, и никто мне в глаза насмеяться не смеет». В этих словах нет ведь ни тени намека на нравственное значение поступка: зато есть слово «закон». А каков он и как применяется здравым смыслом к данному случаю, где же рассуждать об этом девушке: самодурное воспитание вовсе не приготавливает к таким рассуждениям.

Возведение послушания в высший абсолютный закон делается, впрочем, и самими самодурами, и даже еще с большей настойчивостью, чем угнетенною стороною... Это совершенно понятно: во-первых, самодур также почти не имеет истинных нравственных понятий и, следовательно, не может правильно различать добро и зло и, по необходимости, должен руководствоваться произволом; во-вторых – безусловное послушание других очень выгодно для него, потому что затем он может уж ничем не стесняться. Но и тут, разу-

меется, самодурная логика далеко уклоняется от общечеловеческой. По общей логике следовало бы, если уж человек ставит какие-нибудь правила и требования, хотя бы и произвольные, – то он должен и сам их уважать в данных случаях и отношениях, наравне с другими. Самодур рассуждает не так: он считает себя вправе нарушить, когда ему угодно, даже те правила, которые им самим признаны и на основании которых он судит других. И такова темнота разума в «темном царстве», что не только сам самодур, но и все, обиженные и задавленные им, признают такой порядок вещей совершенно естественным. Лучшим выражением этой любопытной стороны в организации «темного царства» представляется комедия «Не так живи, как хочется». В литературном отношении пьесу эту признают менее других замечательною, упрекают в слабости концепции, находят натяжки в некоторых сценах и проч. Мы не будем долго на ней останавливаться – не потому, чтоб она того не стоила, а потому, что, во-первых, наши статьи и без того очень растянулись, а во-вторых, сама пьеса очень проста – и по интриге, и по

очеркам, характеров, так что для объяснения их не нужно много слов, особенно после того, что говорено было выше. Дело в том, что Петр Ильич пьянствует, тиранит жену, бросает ее, заводит любовницу, а когда она, узнав об этом обстоятельстве, хочет уйти от него к своим родителям, общий суд добрых стариков признает ее же виновною... Собравшись домой, она на дороге, на постоялом дворе, встречает отца и мать, рассказывает им все свое горе и прибавляет, что ушла от мужа, чтобы жить с ними, потому что ей уж терпенья не стало. Отец только диву дался, услышав такое вольнодумство. «Как к нам? – восклицает он, – зачем к нам? Нет, поедем, я тебя к мужу свезу». Даша говорит: «Нет, батюшка, не поеду я к нему», – и отец, полагая, не рехнулась ли дочь его, – начинает ей такое увещание:

Да ты пойми, глупая, пойми – как я тебя возьму к себе? Ведь он муж твой... (Встает с лавки.) Поедемте: что болтать-то пустяки, чего быть не может!.. Как ты от мужа бежишь, глупая! Ты думаешь, – мне тебя не жаль? Ну, вот все вместе и поплачем о тво-

ем горе – вот и вся наша помощь! Что я могу сделать? Поплакать с тобой – я поплачу. Ведь я отец твой, дитяtko мое, милое мое! (Плачет и целует ее.) Ты одно пойми, дочка моя милая: бог соединил, человек не разлучает. Отцы наши так жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнее их? Поедем к мужу.

Эти бесчеловечные слова внушены просто тем, что старик совершенно не в состоянии понять: как же это так – от мужа уйти! В его голове никак не помещается такая мысль. Это для него такая нелепость, против которой он даже не знает, как и возражать, – все равно, как бы нам сказали, что человек должен ходить на руках, а есть ногами: что бы мы стали возражать?.. Он только и может, что повторять беспрестанно: «Да как же это так?.. Да ты пойми, что это такое... Как же от мужа идти! Как же это!..»

Казалось бы, то же самое рассуждение следовало и к мужу применить. Нет, он вне закона!.. Он – повелитель своей жены и самодурствует над нею, сколько душе угодно, даже и в то время, как сам перед нею виноват и зна-

ет это. Он узнал, что жена проведала о его «кралечке», кралечка проведала, что он женат, и прогнала его от себя: что же он? Советится показаться к жене? Чувствует раскаяние? Ничего не бывало; он еще норовит, воротясь домой, сорвать на ней сердце за свою неудачу у кралечки... Кажется, это уж должно бы возмутить родителей бедной жены его: в их глазах он, кругом сам виноватый, буйствует и, не помня себя, грозит даже зарезать жену и выбегает с ножом на улицу... Даша и говорит отцу: «Посмотрите сами, какво сладкое мое житье». А отец советует: «Потерпи, подожди!» – «Да чего мне от него ждать, когда от него уж и отец его отступился», – возражает Даша, прикрываясь авторитетом. «Ничего, потерпи», – твердит отец и затем старается представить ее несчастье опять-таки праведной карой – все за непослушание, за то, что она без воли родителей замуж вышла. Вот его речь:

АГАФОН. Все это не дело, все это не дело! Ох, ох, ох! Не хорошо! Ты сама права, что ль? Дело сделала, что нас со старухой бросила? Говори, дело сдела-

ла? Так это и надо? так это по закону и следует? Враг вас обуял! Вы – точно как не люди. Вот ты и терпи, и терпи! Да наказанье-то с кротостью принимай, да с благодарностью!.. А то – что это? что это? Бежать хочет! Какой это порядок? Где это ты видала, чтобы мужья с женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а он в отчаяние придет – кто тогда виноват будет, кто? Ну, а захворает он, кто за ним уходит? Это ведь первый твой долг. А застигнет его смертный час, захочет он с тобой проститься, а ты по гордости ушла от него...

ДАША (бросаясь ему на шею). Батюшка!

АГАФОН. Ты подумай, дочка милая, по-мекай хорошенько... (Плача). Глупы ведь мы, люди, ох как глупы! Горды мы!

Заметьте, как добр и чувствителен этот старик и как он в то же время жестокосерд единственно потому, что не имеет никакого сознания о нравственном значении личности и все привык подчинять только внешним законам, установленным самодурством. Не по

черствости или злобе, а совершенно наивно начинает он упрекать свою дочь за прошлое в такую минуту, когда сердце ее и без того разрывается на части. И потом – какие резоны он представляет? Он не говорит, что, дескать, муж твой будет страдать, хворать и проч., так неужто тебе не жалко его будет? – или что-нибудь в этом роде, – от сердца. Нет, у него совсем другое основание: «Кто тогда будет виноват?» да: «Это первый твой долг»... На основании этой, чисто внешней, морали он и убеждает дочь: «потерпи, потерпи – все хорошо будет».

И ведь действительно – глупая случайность приходит для оправдания слов старика, точно так, как —

*Ведь и случается: возьмет
Да и скончается купчиха,
Перед которой глупый пес
Три ночи выл, поднявши нос.
Тогда попробуй разуверить!.. {41}*

Петр Ильич, допившийся до чертиков, с ножом в руке бежит на Москву-реку, ничего не видя и не понимая. Вдруг слух его поражается ударом колокола: к заутрене где-то забла-

говестили. Он, по машинальной привычке, поднимает руку, чтобы перекреститься, – и видит, что в руке у него нож, а стоит он над самой прорубью... Тут его страх взял, хмель мгновенно отшибло, он вспомнил увещания отца и воротился домой с полным раскаянием. Выслушавши рассказ его, отец Даши само-довольно-нежно упрекает ее: «Что, дочка, говорил я тебе!..» Тем дело и кончается.

Когда вдумаешься в эту историю, в ней невольно представляется какой-то страшно фантастический смысл. Некоторые утверждали, что здесь заключается показание того, как благодетелен для народа колокольный звон и как человека в самые трудные минуты спасают набожные привычки, с детства усвоенные. Нет надобности говорить, до какой степени странно подобное толкование. Нет, совсем другое представляется нам в этой драме применительно к общей идее, какую находим мы во всех произведениях Островского. В рассказавшемся Петре Ильиче мы видим безотрадность и безвыходность того положения, в которое он сам и все близко с ним связанные ввергнуты самодурным бытом. Петра Ильича

уговаривает отец, упрасивает тетка, умоляет жена, которую убивает его поведение, образумливает товарищ, отвергает девушка, для которой он бросает жену, – на него ничто не действует. Никаких живых начал нравственности нет в нем, сердце его грубо и темно совершенно. Даже любовь в нем так дика, так безобразна! Дашу полюбил он и увез от отца, а через, несколько месяцев уже тиранит ее и считает наказанием своей жизни безответную, полносердечную любовь ее. По Груше он с ума сходит, но что же он делает, когда она, насмеявшись над ним, выпроваживает его? Он обращается к Еремке, у которого есть знакомый колдун, и спрашивает: «*Может он приворожить девку, чтоб любила, чтоб не она надо мной, а я над ней куражился, как душе угодно?*» Вот предмет его стремлений, вот любовь его: возможность куражиться над любимой женщиной, как душе угодно!.. Страшно, как подумаешь, что ведь обитатели «темного царства», сколько мы знаем их по Островскому, все имеют такие самодурные наклонности, если сами не забиты до совершенного отречения от своей личности... Что же

может вразумить этих мрачных людей, что может спасти от них тех несчастных, которые принуждены терпеть от них? Ничто, положительно ничто из средств обыкновенных. Никаким естественным путем нельзя дойти до изменения их понятий и характера. Нужно что-нибудь чрезвычайное, крайнее, насильственное, хотя бы и совершенно бестолковое, для того чтобы отрезвить их. Надо было Петру Ильичу забраться к проруби на Москве-реке, и именно в то время, когда заблаговестили к заутрене, – для того, чтобы очувствоваться!.. Ну, а если бы этого не случилось?... Продолжалась бы эта жалкая жизнь Петра Ильича с женою многие годы, как она у многих и продолжается в «темном царстве». Да и теперь кто поручится, что раскаяние Петра Ильича прочно? Есть ли в его характере какие-нибудь задатки нравственного исправления? Разумеется, – это уж само по себе необходимо, чтоб пьяница проспался и чтоб человек, допившийся до чертиков, перегодил немножечко, отдохнул и собрался с силами. Но надолго ли это? Не забудьте, что раскаяние Петра Ильича произошло под влиянием призраков и чудо-

вищ, которые ему мерещились в пьяном виде... Он может уверять, и все соседи его могут верить, что действительно водяник или другой дух водил его; но ведь мы знаем достоверно, что все это следствие расстроенной фантазии, разгоряченного мозга. Какая же тут гарантия за нравственное исправление человека? Пока он еще чувствует истощение от минувшей гульбы да пока жив в его памяти страх недавнего происшествия, до тех пор и он поостережется... А там опять примется за прежнее; этого с достоверностью можно ожидать, зная, что в нем вовсе не развито внутреннее сознание о необходимости честной и полезной жизни... И бедная женщина – его жена – должна будет по-прежнему страдать в своей горькой доле, если опять не совершится какого-нибудь чуда. И старики – отец и мать ее – по-прежнему будут о ней сокрушаться и убеждать ее терпеть!.. Им-то все-таки легче: они уж совсем обезличились, они все насквозь прониклись учением, что должно —

*С терпением тяготу сносить
И без роптания просить...*

Но выдержит ли несчастная женщина, в которой молодая натура еще сохраняет остатки жизни и все еще протестует по временам, хотя и слабо, против мрачной силы, бесправно и бессмысленно угнетающей ее?..

Наверное нет! Она неизбежно придет к падению, – не к тому падению, под которым, на пошлом языке нашей искусственной морали, разумеется полное наслаждение любовью, – а к действительному падению, к потере нравственной чистоты и силы. Это падение одинаково может постигнуть и мужчину, как женщину; но в любящей женской натуре есть к нему путь, который каждую минуту может увлечь ее и по которому один шаг может уже сделать ее преступною и погибшею в глазах общества. Путь этот – связь с мужчиною. Мужчина тоже может в коротких отношениях с женщиною искать спасения от мрака и гадостей, окружающих его в практической жизни. Тут он отдыхает и успокоивается, тут он старается забыться. Но для мужчины подобные отношения не губительны; на них все так и смотрят, как на невинное развлечение, они не оставляют на нем пятна позора перед

обществом. Он каждую минуту может возвратиться от них к своим деловым отношениям и вступить в свою обычную среду, нисколько, не потерявши своего нравственного значения. Не то с женщиной: раз сделавши неверный шаг, она уже теряет, по силе господствующих нравов, возможность спокойного возврата на прежнюю дорогу. Она унижена, опозорена, отвержена, пред нею все двери закрыты – по крайней мере до тех пор, пока она прямо в лицо обществу надменно не бросит своего позора, украшенного золотом какого-нибудь самодура. Тогда, пожалуй, и перед ней преклонятся и даже станут подличать. Но и в этом случае глубокое нравственное растление должно совершиться в ее натуре. Таким образом, как ни иди девушка, везде ей тяжело и опасно, и нет пути, который не привел бы ее к потере нравственного достоинства. Пока она не совсем загубела и опошлела, – ее тяготит нужда, общее презрение, беззащитность против всякого встречного, так что она поневоле и незаметно должна привыкать и к обману, и к бездельничеству, и к жизни на чужой счет... А потом, когда она свык-

нется с своим положением и будет безмятежно продавать свои чувства и наслаждаться пышной праздностью, – тогда, при счастливом случае, открытое поклонение, зависть и низости окружающих выгонят из нее окончательно всякое доброе чувство и втиснут ее в самую глубину разврата... Если же и счастливого случая не встретится, тогда... тогда об этих женщинах даже и не говорят нравственные люди, по крайней мере в трезвом виде...

Но ведь и эти женщины были когда-то чистыми, нравственными существами, достойными уважения самых чопорных пуристов формального целомудрия. Как же началось их падение? Какие причины, заставили их ступить на ложный путь? Что решило «первый шаг» их? Умствовать об этом можно очень много; но мы не хотим умствовать, а делаем эти вопросы только затем, что находим прямой ответ на них в комедиях Островского. Отсутствие живого нравственного развития, неимение опоры внутри себя и самодурный гнет извне – вот причины, производящие в «темном царстве» безнравственность женщин, равно как и безнравственность

мужчин. Мы уже видели, как выражается отсутствие нравственной самостоятельности и неприязнь ко всему, вызванная самодурством, в натурах живых и физически страстных. Жена и сестра Пузатова только тем и живут, что обманывают его и потихоньку гуляют с молодыми людьми, отпросившись в церковь. Липочка Большова прельщается военными, боится отца, в грош не ставит мать и потом выходит за Подхалюзина и прехладнокровно отправляет в яму отца, чтобы не заплатить за него по 25 копеек за рубль, из его же имения... Видели мы. и то, как падают и замирают под самодурным гнетом кроткие и нежные женские натуры. Авдотья Максимовна, в пору зрелости оставшаяся ребенком в своем развитии, не умеющая понимать – ни себя самое, ни свое положение, ни окружающих людей, увлекается наущениями Арины Федотовны и пленяется Вихоревым... Любовь Гордеевна, не смеющая даже сказать отцу о своей любви к Мите, идет за Коршунова, к которому чувствует страх и омерзение. Не менее безнравственно и положение Даши, принужденной поить вином своего мужа, чтобы

он, пьяный, приколотил ее... Но все это факты уже конченные; мы видим здесь уже совершившуюся смерть личности и можем только догадываться о той агонии, через которую перешла молодая душа, прежде чем упала в это положение. Но есть у Островского пьеса, где подслушан лепет чистого сердца в ту самую минуту, когда оно только что еще чувствует приближение нечистой мысли, – пьеса, которая объясняет нам весь процесс душевной борьбы, предшествующей неразумному увлечению девушки, убиваемой самодурною силою... Пьеса эта, конечно, памятна нашим читателям, потому что она появилась в нынешнем году и обратила на себя общее внимание. Мы уже говорили о ней в «Современнике»{42} и потому теперь скажем о ней только то, что может прямо относиться к объяснению нашей мысли. Надя, воспитанница Уланбековой, – добренькая и умненькая девушка, имеющая очень скромные и вполне честные стремления. Она мечтает о семейном счастье с любимым человеком, заботится о том, чтоб себя «облагородить», так, чтобы никому не стыдно было взять ее замуж; думает о том, ка-

кой она хороший порядок будет вести в доме, вышедши замуж; старается вести себя скромно, удаляется от молодого барина, сына Уланбековой, и даже удивляется на московских барышень, что они очень бойки в своих разговорах про кавалеров да про гвардейцев. «И откуда они все это знают?» – спрашивает она в недоумении сама себя... Словом, это девушка, которая, при других обстоятельствах, могла бы вполне соответствовать идеалу многих и многих людей: она от всей души хочет и, по своей натуре, может быть хорошей женой и хорошей хозяйкой. Дайте ей еще некоторое образование, она будет и хорошей матерью и воспитательницей своих детей. Но она живет в доме Уланбековой, этого безобразного самодура в женском платье, – и все должно пропасть для бедной Нади. Лицо Уланбековой замечательно, как пример того, что значит самодурство, перенесенное из купеческого дома в другую сферу. Здесь оно могучее, влияние его обширнее, и потому оно еще отвратительнее. Купец ограничивает свое самодурство упражнением над домашними да над близкими людьми; но в обществе он не мо-

жет дурить, потому что, как мы видели, он, в качестве самодура, труслив и слабодушен пред всяким независимым человеком. Уж на что Тит Титыч Брусков, – и тот не посмел очень вольничать над Ивановым и, пришедши домой, сознавался: «Они только тем и взяли, что я в их квартире был; а пришли бы они сюда, так я бы уж бы их уконтентовал». Буйный Петр Ильич, прогнанный своей кралечкой, тоже расхотелся, только воротясь домой. «Они надо мной насмеялись, выгнали меня!.. А здесь я дома, – все в прах разобью, щепки живой не оставлю», – кричит он в иступлении. Таким образом, многие купеческие самодуры, «сердиты, да не сильны», и общество очень много от них страдать не может. Но родовые черты самодурства остаются те же во всех сферах; и чем сфера обширнее, тем самодурство ужаснее и вреднее. Круг действия Уланбековой довольно велик. Во-первых, у ней домашних очень много – воспитанницы, приживалки, ключницы, горничные, служители... Потом у ней есть крестьяне. Кроме того, она представляет сильное лицо в целом околотке и имеет большое влияние. Она и чу-

жие свадьбы насильно устраивает, и на места определяет, и от суда защищает... А какого, качества ее влияние об этом можно судить по некоторым чертам. Она просит исправника за своего крестника, Неглигентова, чтоб его столоначальником сделали; исправник говорит, что места нет. Уланбекова этим обижается и говорит ему: «Вы, кажется, не понимаете, кто вас просит». Исправник принужден обещать. По этому поводу приживалка Уланбековой, Василиса Перегриновна, рассуждает: «Я и понять не могу, как это у него язык-то повернулся против вас. Вот уж сейчас необразование-то и видно! Положим, что Неглигентов, по жизни своей, не стоит, чтобы об нем и разговаривать много, да по вас-то он должен сделать для него все на свете, какой бы он там ни был негодяй... Крестник он вам, ну, и конечно дело, – он никаких и разговоров не должен слушать... Все это знают, благодетельница, что вы, если захотите, так можете из грязи человекам сделать; а не захотите, так будь хоть семи пядей во лбу, – так в ничтожестве и пропадет. Сам виноват: отчего не умел заслужить»... Весь цинизм самодурной морали и

логики выражен здесь очень рельефно. Личность самодура ставится здесь центром всего нравственного мира; от нее все исходит, и к ней все должно возвращаться. Нет никаких прав, кроме личности самодура, никаких нравственных правил, кроме угождения его воле... Таким образом, вопрос о законности ставится здесь с бесстыдной прямою: закон есть не что иное, как воля самодура, и все должны ей подчиняться, а он не должен стесняться ничем... Каково жить людям под такую моралью!..

А вот каково. Воспитанниц своих Уланбекова держит строго, под замком. Если они осмелятся раскрыть рот, то она говорит им вот что: «Я не люблю, когда рассуждают, просто не люблю да и все тут. Этого позволить я не могу никому. Я смолоду привыкла, чтоб каждого моего слова слушались; тебе пора это знать! И мне очень странно, моя милая, что ты осмеливаешься возражать мне. Я вижу, что избаловала тебя: а вы ведь сейчас зазнаетесь»... Но зато, по словам старика Потапыча, она хорошо одевает воспитанниц и не заставляет их работать: «Хочу, – говорит, – чтоб все

им завидовали». Когда же они вырастут, отдаст их замуж по своему выбору. Об этом Потапыч так сообщает Леониду, сыну Уланбековой:

Скажут: я тебе нашла жениха, и вот, скажут, тогда-то свадьба; ну и конец, тут уж и разговаривать ни одна не смей! За кого прикажут, за того и ступай. Потому что, сударь, я рассуждаю так: кому же приятно, давши воспитание, да видеть непокорность... А бывает, сударь, и так, что и жених невесте не нравится, и невеста жениху, так тут уж очень гневаются... так даже из себя выходят... Пожелали они одну воспитанницу отдать за лавочника в город, а он, человек не полированный, вздумал было сопротивляться. Мне, говорит, невеста не нравится, да я и жениться-то не хочу еще. Так в те поры и городничему жаловались, и отцу протопопу; ну, и уломали дурака.

По мнению Потапыча, это значит, что барыня «на всех свою заботливость простирают». Какое же побуждение к этой заботливости? Объяснить это старается сама Уланбекова-

ва – в *поучении*, которое она очень трогательно, со слезами на глазах, по словам Потапыча, читает воспитанницам при выдаче их замуж. «Вы, – говорит, – жили у меня в богатстве и в роскоши и ничего не делали; теперь ты выходишь за бедного, и живи всю жизнь в бедности, и работай, и свой долг исполняй. И позабудь, – говорит, – как ты у меня жила, потому что не для тебя я это делала; я себя только тешила, а ты не должна никогда об такой жизни и думать, и всегда ты помни свое ничтожество, и из какого ты звания»... И не подумайте, что это говорится со злобою или с сарказмом; вовсе нет, – это от полноты души, от искреннего убеждения Уланбековой. В ней тоже нет особенной склонности к злу; вся беда в том, что она, в круге своих идей, ничего не может признать, кроме себя. Все остальное кажется ей созданным на ее службу, как злак полевой существует не сам по себе, а собственно на службу человекам... Что же прикажете делать с такими понятиями?.. А что она действительно склонна к тому, чтобы даже добро делать, это доказывается тем, как она заботится о мужьях своих воспитанниц. Пота-

пыч говорит, что которых воспитанниц выдали, за приказных, так уж мужьям жить хорошо. «Потому, если его выгнать хотят из суда или вовсе выгнали, он сейчас к барыне к нашей с жалобой, и *оне уж за него горой, даже самого губернатора беспокоят.* И уж этот приказный в те поры может и пьянствовать, и все, и уж никого не боится»... Конечно, вы скажете, что это уж тоже нехорошо; но все-таки видно, что Уланбекова – не мучительница какая, не злодейка, а женщина чувствительная, благожелательная и благодетельная.

По своей благожелательности (а не по чему другому) Уланбекова задумала отдать Надю за пьяницу Неглигентова. Она очень просто говорит об этом Василисе Перегриновне: «Ты говоришь, что он дурную жизнь ведет; так надобно будет свадьбой поторопиться. Надя у меня – девушка хороших правил, будет его удерживать, а то он от холостой жизни совсем избалуется». Надя сидит тут же и слышит эти слова, и ничего не смеет сказать против них... Наконец она умоляет, плачет, ей дают выговор и говорят: «Слезы твои для меня ровно ничего не значат. Коли я что захочу

сделать, так уж поставлю на своем, никого в мире не слушаюсь!.. И вперед знай, что упрямство твое ни к чему не приведет, только рассердишь меня». Говорится все это прилично и солидно, но, разумеется, Наде от того не легче. Самодурство здесь спрятало свои кулаки и плетку, но оно не лучше от этого, а, пожалуй, еще похуже. В одной пьесе Островского есть точно такая сцена в купеческой семье; та гораздо грубее, но все-таки не так возмутительна. Это сцена в «Не сошлись характерами», где Карп Карпыч сообщает своей дочери о свадьбе своей племянницы и по этому поводу рассуждает с женой своей, Улитой Никитишной. Мы выпишем эту сцену для сравнения: она очень коротка.

КАРП КАРПЫЧ. А вот и у нас скоро свадьба: Матрену в саду с приказчиком застали, так хочу повенчать (Матрена закрывает лицо рукавом); тысячу рублей ему денег и свадьба на мой счет.

УЛИТА НИКИТИШНА. Тебе бы только пображничать где было; затем и свадьбу-то затеял.

КАРП КАРП. Ну, еще что?

УЛИТА НИК. Ничего больше.

КАРП КАРП. (строго). Нет, ты поговори!

УЛИТА НИК. Ничего, право, ничего.

КАРП КАРП. (строже). Нет, поговори что-нибудь, я послушаю.

УЛИТА НИК. Да что говорить-то, коли не слушаешь.

КАРП КАРП. Что слушать-то! Слушать-то у тебя нечего. Эх, Улита Никитишна! (Грозит пальцем). Сказано – молчи! Я хочу, чтобы девка чувствовала, а ты с своими разговорами... (Матрена закрывает другим рукавом глаза). Третью племянницу так отдаю. Я всей родне благодетель. Вот теперь есть еще, маленькая, так и ту на место Матрены возьму, и ту в люди выведу.

Тут и ругательство, и угроза, и насилие, словом – самодурство в полном ходу.... Но оно не развилось здесь до той виртуозности, как в Уланбековой. Тут Матрена венчается с приказчиком, с которым застали ее в саду, – дело простое и ясное. Так, вероятно, выдал Карп Карпыч и других своих племянниц. Если б он мог придумать выдавать их за тех, за кого они не хотят и кто их брать не хочет, то очень

может быть, что эта идея и понравилась бы ему... Но он еще не утончился до подобных выдумок; а Уланбекова пустилась уже и в эту роскошь. Затем и самая манера у Карпа Карпыча другая: он с женой своей обращается хуже, чем Уланбекова с воспитанницей, он не дает ей говорить, он даже, может быть, бивал ее; но всё-таки жена может ему, делать кое-какие замечания, а Надя перед Уланбековой совершенно безгласна. Вот как мало отрады приносят цивилизованные формы самодурства!

И вот при этом-то, холодно и степенно нанесенном ударе появляется в Наде то горькое рвущее чувство, которое заставляет человека бросаться без памяти, очертя голову, куда случится, – в воду, так в воду, в объятия первого встречного, так в объятия! Ее ощущения переданы в пьесе Островского с изумительной силой и яркостью; таких глубоко истинных очерков немного во всех произведениях нашей литературы. Мы уже приводили в «Современнике» (№ XI) эту сцену, но не можем еще раз не напомнить читателям некоторых мест ее. «Я и сама не знаю, что со мной вдруг

сделалось, – говорит Надя. – Как только барыня давеча сказала, чтоб не смела я разговаривать, а шла, за кого прикажут, так у меня все сердце перевернулось. Что, я подумала, за жизнь моя, господи! *(Плачет)* Что в том проку-то, что живу я честно, что берегу себя не только от слова какого, а и от взгляду-то?.. Так меня зло даже взяло на себя. Для чего, я думаю, мне беречь-то себя? Вот не хочу ж, не хочу!.. А у самой так сердце и замерло, – кажется, еще скажи она слово, я б умерла на месте». В этой исповеди ясно, каким безвыходным крутом обводит самодурство всех несчастных, захваченных его влиянием. Надя не приучена к тому, чтобы сохранить власть над собою, и остаться верною своим понятиям из внутреннего убеждения в их правоте и силе; у нее скромность и честность имеют прямую цель – сохранить себя для замужества... Но естественное чувство ее внезапно оскорбляется приказанием идти, за пьяного и грязного негодяя... Все ее девические мечты разбиты, тяжелая доля ее предстает ей во всей своей безжалостной грубости. Прежде она мечтала, как будет сидеть с женихом, – словно княжна

какая, словно у вей каждый день праздник, – как она будет жить замужем, словно в раю, словно гордясь чем-то... А теперь у ней другие мысли; она подавлена самодурством, да и впереди ничего не видит, кроме того же самодурства: «Как подумаешь, – говорит она, – что станет этот безобразный человек издеваться над тобой, да ломаться, да свою власть показывать, загубит он твой век ни за что!.. Не живя, ты с ним состаришься... Так уж, право, молодой барин, лучше...» И в самом деле – она в своей «отчаянности», как выражается она, находит, что ей нравится Леонид, который за ней давно уж ухаживает... Прежде она от него бегала, а теперь бросилась в его объятия, вышедши к нему вечером в сад: он свозил ее на лодочке на уединенный островок, их подсмотрела Василиса Перегриновна, донесла Уланбековой, и та, пришедши в великий гнев, велит тотчас послать к Неглигентову (которого пред тем уже выгнала от себя за то, что он пришел к ней пьяный – и, следовательно, не выказал ей уважения) сказать ему, что свадьба его с Надей должна быть как можно скорее...

Тут является и Леонид со своими сожалениями... но он уже заражен воздухом самодурства, он ничего не может сделать путного. В «Воспитаннице» мимоходом, но с поразительной истиной выставлено то, как эпидемия самодурства, разлитая в атмосфере всего «темного царства», неприметно, но неизбежно заражает самые свежие натуры. Леонид – мальчик 18 лет, не злой и не совсем глупый, характер его еще не сложился. Но посмотрите, какие у него замашки, как он уже испорчен в корне и как все окружающее способствует его дальнейшему развращению, как все вырабатывает из него отвратительнейшего самодура. Одни разговоры с Потапычем чего стоят! Он замечает Потапычу, озирая имение: «Ведь это все мое будет». И Потапыч отвечает: «Все, сударь; ваше, и мы ваши будем... Как, значит, при барине, при покойнике, так все равно и вам должны. Потому – одна кровь... Уж это прямое дело»... Затем Леонид объясняет, что он служить не намерен, потому что «там еще писать заставят»;.. Потапыч и на это свою речь держит: «Нет, сударь, зачем же вам самим дело делать! Уж это не по-

рядок! Вам такую службу найдут, – самую барственную, великательную, работать будут приказные, а вы будете над ними надо всеми начальником. А чины уж сами собою пойдут»... Затем Леонид жалуется, что девушки от него бегают. Потапыч объясняет, что это оттого, что маменька его соблюсти желает и их тоже. Потом прибавляет:

Да что ж, сударь: маменька ваша, обыкновенно, должна строгость наблюдать, потому как они дамы. А вам что на них смотреть! Вы сами по себе должны поступать, как все молодые господа поступают. Уж вам порядку этого терять не должно. Что ж вам от других-то отставать? Это будет к стыду к вашему.

ЛЕОНИД. Так-то так, да не умею я с девушками разговаривать.

ПОТАПЫЧ. Да вам что с ними разговаривать-то долго? Об каких науках вам с ними разговаривать? Нешто оне что понимают! Обыкновенно – вы барин, ну, вот и конец...

И Леонид быстро напITYвается этими понятиями. В сцене с Надей в саду он выказыва-

ет себя пустым и дрянным мальчиком – не больше; но в последней сцене, когда он узнал о гневе матери и о судьбе, грозящей Наде, он просто гадок... Он суетится, спрашивает, нельзя ли помочь, жалеет Надю, по-видимому, но в сущности, ему уж нет до нее дела... Беде можно помочь одним средством: Уланбекова сердита главным образом за то, что Гришка, 19-летний лакей, ее любимец, не ночевал дома; Гришка ушел и завалился на сено, мало заботясь о гневе барыни; но нужно послать его просить прощенья, – тогда Уланбекова развеселится и ее можно будет упротить за Надю. Василиса Перегриновна язвительно предлагает Леониду попросить Гришку, чтоб шел к барыне. Но мальчик, немного подумав, отвечает: «Нет, уж это ему много чести будет»... И, решив этим ответом исполнение грозного приговора над судьбою Нади, он опять начинает спрашивать: «что делать», да приставать с сожалениями... Надя уж выходит из терпения наконец и говорит ему: «Полноте о таких пустяках беспокоиться; вы же поедете в Петербург скоро; веселитесь себе там. А до меня что вам за дело!» Леонид оби-

жен и спрашивает: «Зачем так говорить мне?» – «Затем, что вы мальчик еще, – отвечает Надя и заключает: – уж уехали б вы куда-нибудь лучше! А у меня, коли терпенья не хватит, так пруд-то у нас недалеко!..» И Леонид, несколько озадаченный, но втайне очень довольный, что может отделаться, говорит: «А в самом деле, я лучше поеду к соседям на неделю»... И оставляет Надю, которая вчера бросилась в его объятия – по влечению того же чувства, по которому теперь собирается броситься в пруд...

Итак, вот где источник падений, вот причина нравственного растления, так обильно разлитого по всему «темному царству» самодуров! «Пока я думала, что я человек, как и все люди, – говорит Надя, – так у меня и мысли были другие. А как начала она мной, как куклой, командовать, да как увидела я, что никакой мне воли, ни защиты нет, так отчаянность на меня напала... Куда страх, куда стыд девался... Хоть день, да мой, думаю, – а там что будет, то будет, ничего я и знать не хочу»... И в этих мыслях бросилась девушка на свою погибель, и действительно, только

часом каким-нибудь и попользовалась... Да и тот уже отнят у ней, потому что воспомина-ние вчерашней сцены любви уже отравлено, запачкано нынешним поведением Леонида. «Кому я отдалась, на кого расточила я свои чистые девичьи ласки!» – должна думать те-перь несчастная девушка, и стыд горькой ошибки будет преследовать ее сильнее и дольше, нежели печаль об утраченной невинности. Да, собственно говоря, и безнрав-ственность-то ее поступка состоит ведь толь-ко в том, что она сгоряча очень глупо распо-рядилась собой... А что ж ей было делать, од-нако?.. Ее уж не одно чувство законности удерживало от открытого восстания против воли «благодетельницы», а просто бессилие, невозможность. Куда же ей было деваться, где и какими средствами искать защиты, на какие средства существовать, наконец?.. Ей, кроме того, что она сделала, только одно и оставалось: утопиться в пруде... Так ведь и это тоже не велика радость!..

Здесь-то открывается нам другая причина, приведенная нами на то, отчего так крепко держится самодурство, само по себе несостоя-

тельное и давно прогнившее внутри. Чувство законности, сделавшееся чисто пассивным и окаменелым, превратившееся в тупое благоговение к авторитету чужой воли, не могло бы так кротко и безмятежно сохраняться в угнетенных людях при виде всех нелепостей и гадостей самодурства, если бы его не поддерживало что-нибудь более живое и существенное. И действительно, оно поддерживается постоянно тем, что в людях есть неизбежное стремление и потребность – обеспечить свой материальный быт. Эта потребность, в соединении с тупым и неразумным чувством законности, чрезвычайно благоприятствует процветанию самодурства. Если бы чувство законности не было в людях «темного царства» так неподвижно и пассивно, то, конечно, потребность в улучшении материального быта повела бы совсем к другим результатам. Митя не стал бы заглазно плакаться на хозяина и молчать перед ним, считая законом его волю, а просто нашел бы очень законным делом – потребовать от него прибавки жалованья. Сам Подхалюзин не стал бы обмеривать и обсчитывать, повинуюсь воле хо-

зьяина, как высшему закону, и откладывая гроши себе в карман, а просто потребовал бы участия в барышах Большова, так как он уже всеми его делами заведывал. Тогда, конечно, Большову и банкротство бы не понадобилось. Да и самодурствовать-то ему было бы не слишком повадно. С другой стороны, если бы надобности в материальных благах не было для человека, то, конечно, Андрей Титыч не стал бы так дрожать перед тятенькой, и Надя могла бы не жить у Уланбековой, и даже Тишка не стал бы уважать Подхалюзина... Но теперь дела представляются в таком виде: материальные блага нужны всякому человеку, но они уже захвачены самодурами, так что слабая, угнетенная сторона, находящаяся под их влиянием, должна и в этом зависеть от самодурной милости какого-нибудь Торцова или Уланбековой; можно бы от них потребовать того, чем они владеют не по праву; но чувство законности запрещает нарушать должное уважение к ним... Что же из этого выходит? Следствие, кажется, ясно: нужно «без роптания просить» от самодуров, чтобы они, живя сами, дали жить и другим... Но,

чтобы они исполнили просьбу, нужно снис-
кать их милость; а для этого надо во всем с
ними согласиться, им покориться и с «терпе-
ньем тяготу сносить», если придется... А тяго-
ты придется довольно, судя «по крутому-то
характеру» Гордея Карпыча или г-жи Уланбе-
ковой, да и по их непроходимой глупости...
Ко всему этому надо себя приготовить, воспи-
тать себя для этого, а именно: *переломить*
свой характер, *выбить* из головы дурь, т. е.
собственные убеждения, *смирить* себя, т. е.
отложить всякую мысль о своих правах и о
человеческом достоинстве. Все это самими са-
модурами очень успешно и выполняется над
всеми людьми, родящимися в пределах их
влияния. Оттого-то у них и есть всегда под ру-
ками так много безответных Митей, Андрюш,
раболепных Потапычей и т. п. Если же в ком
и после самодурной дрессировки еще оста-
нется какое-нибудь чувство личной самостоя-
тельности и ум сохранит еще способность к
составлению собственных суждений, то для
этой личности и ума готов торный путь: са-
модурство, как мы убедились, по самому су-
ществу своему, тупоумно и невежественно,

следовательно ничего не может быть легче, как надуть любого самодура. Человек, сохранивший остатки ума, непременно на то и пускается в этом самодурном круге «темного царства», если только пускается в практическую деятельность; отсюда и произошла поговорка, что «умный человек не может быть не плутом».

Таким образом, под самодурами два разряда их воспитанников и клиентов – живые и неживые. Неживые, задавленные, неподвижные, – так и лежат, не обнаруживая никаких попыток: перетащут их с одного места на другое – ладно, а не перетащут, – так и сгниют... Живые, напротив, все стараются поместиться получше и поближе около самодура, а если линия подойдет, то и ножку ему подставить, чтобы сесть на него верхом и самим задурить. И новый самодур уже бывает хуже, опасней и долговечней, потому что он хитрее прежнего и научен его горьким опытом. Так оно все и идет: за одним самодуром другой, в других формах, более цивилизованных, как Уланбекова цивилизована сравнительно, например, с Брусковым, но, в сущности, с теми же требо-

ваниями и с тем же характером. Живые натуры угнетаемой стороны пускаются в плутни для своего обеспечения, а неживые стараются своей неподвижностью и покорностью заслужить себе милость самодура и капельку живой воды (которую он, впрочем, дает им очень редко, чтобы не слишком оживились).

Из этих коротких и простых соображений не трудно понять, почему тяжесть самодурных отношений в этом «темном царстве» обрушивается всего более на женщин. Мы обещали в прошедшей статье обратить внимание на рабское положение женщины в русской семье, как оно является в комедиях Островского. Мы, кажется, достаточно указали на него в настоящей статье; остается нам сказать несколько слов о его причинах и указать при этом на одну комедию, о которой до сих пор мы не говорили ни слова, — на «Бедную невесту».

По устройству нашего общества женщина почти везде имеет совершенно то же значение, какое имели паразиты в древности: она вечно должна жить на чужой счет. Понятно, какое обидное мнение о женщине складыва-

ется поэтому само собою в обществе... Правда, что на чужой счет живут и сами домовладыки этого «темного царства», подобные Брускову, Большову и пр. Но те упорно держат за собою какое-то никем не выговоренное, но всеми признанное *право* на тунеядство. Притом они оправдываются даже правилами политической экономии: у них есть капитал (откуда и как он добыт, – до этого уж что за дело!), и они по праву пользуются процентами... А если проценты эти в торговле их и оказываются несколько чрезмерны, то опять в этом никто не виноват: значит, конкуренция слаба. Наконец надо и то рассуждать: самодур, по общему сознанию и по его собственному убеждению, есть начало, центр и глава всего, что вокруг него делается; значит, хоть бы он собственно сам и ничего не делал, но зато деятельность других принадлежит ему. От него ведь дается право и способы к деятельности; без него остальные люди ничтожны, как говорит Юсов в «Доходном месте»: «Обратили на тебя внимание, ну, ты и человек, дышишь; а не обратили, – что ты?» Так, стало быть, о бездеятельности самих самодуров и говорить

нечего. Надо говорить о другой половине «темного царства», о той, которую мы назвали угнетаемою. Тут все трудятся более или менее. Конечно, труд этот не свободен, не самостоятелен; трудящиеся во всем зависят от прихоти самодуров и часто принуждены делать вовсе не то, что следует и что им хочется... Вспомним, как Андрюша Брусков порывается учиться, как Митя стремится к тому, чтобы «образовать себя», и как им это не удастся. Они, стало быть, тоже очень стеснены в своей деятельности, и именно вследствие необеспеченности своего положения, вследствие зависимости их материальных средств от первой прихоти самодура... Но все-таки они еще могут надеяться, что и самодур не вдруг их прогонит и бросит: все же они что-нибудь делают и приносят пользу самодуру. Положим, Торцов не дорожит приказчиками, так же, как Вышневицкий в «Доходном месте» чиновниками, и может их менять каждый день. Но на место смененных надо же кого-нибудь определить; следовательно, Торцов имеет вообще нужду в людях и, следовательно, хоть вследствие своего консерватизма не

будет зря гонять тех, которые ему не противятся, а угождают. Притом же и самые занятия мужчины, как бы они ни были второстепенны и зависимы, все-таки требуют известной степени развития, и потому круг знаний мальчика с самого детства, даже в понятиях самих Брусковых, предполагается гораздо обширнее, чем для девочки. Андрюша Брусков, напр., по фабрике у отца – первый; для этого надо же ему было хоть посмотреть на что-нибудь, если уж не учиться систематически, как следует. А о дочерях мать этого же Андрюши говорит очень наивно: «Что дочери! *Дочерей и запереть можно, да и хлопот с ними меньше – ни учить, ни что*». За дочерьми, по ее мнению, только и нужен присмотр, чтобы их от парней уберечь до замужества: а там уже муж будет беречь свою жену от посторонних... Во всех до сих пор рассмотренных нами комедиях Островского мы видели, как все обитатели его «темного царства» выражают полнейшее пренебрежение к женщине, которое тем более безнадежно, что совершенно добродушно. Тут нет даже и такого раздражения, с каким, напр., один господин отделявал

купца, осмелившегося писать о крестьянском вопросе. В том раздражении, как оно ни высокомерно, все-таки видно боязливое внимание, какое-то смутное сознание, что в противной стороне все-таки кроется некоторая сила, тон пренебрежения здесь искусствен. Ничего подобного нет в тоне отношений мужей к женам и отцов к дочерям в «темном царстве» комедий Островского. Эти господа не раздражаются, не восстают серьезно против значения женщины; они позволяют своим женам даже спорить с собой... Но просто они не могут поместить в голове мысли, что женщина есть тоже человек равный им, имеющий свои права. Да этого и сами женщины не думают. «Уж что женщина! курица не птица, женщина не человек», – повторяют они вместе с Ничкиной в «Праздничном сне». Она сама ничего не делает, ничего не приобретает, не играет никакой роли в обществе, не составляет никакой инстанции в делах. Что бы она ни была, все она только по отцу да по муже... И она безропотно покоряется этому, находя, что так быть должно, так уж испокон веку заведено и, стало быть, судьба уж такая... Слабые по-

пытки ее выказать свое значение ограничиваются только разве разговорами, подобными следующему разговору Улиты Никитишны с Карпом Карпычем, в «Не сошлись характерами». Мы приводим этот разговор, потому что в нем, кроме подтверждения нашей мысли, находим один из примеров того мастерства, с каким Островский умеет передавать неуловимейшие черты пошлости и тупоумия, повсюду разлитых в этом «темном царстве» и слушающих, вместе с самодурством, главным основанием его быта.

УЛИТА НИКИТИШНА (заваривая чай).

Нынче все муар антик в моду пошел.

КАРП КАРП. Какой это муар антик?

УЛИТА НИК. Такая материя.

КАРП КАРП. Ну, и пущай ее.

УЛИТА НИК. Да я так... Вот кабы Серафимочка замуж вышла, так уж сшила бы себе, кажется... Все дамы носят.

КАРП КАРП. А ты нешто дама?

УЛИТА НИК. Обнакновенно дама.

КАРП КАРП. Да вот можешь ты чувствовать, – не могу я слышать этого слова... когда ты себя дамой называешь.

УЛИТА НИК. Да что же такое за слово: дама? Что в нем... (ищет слова) постыдного?

КАРП КАРП. Да коли не люблю! Вот тебе и сказ!

УЛИТА НИК. Ну, а Серафимочка дама?

КАРП КАРП. Известно – дама: та ученая, да за барином была. А ты что? Все была баба, а как муж разбогател, дама стала. А ты своим умом дойди.

УЛИТА НИК. Да нет! Все-таки... как же!

КАРП КАРП. Сказано – молчи, ну и баста) (Молчание.)

УЛИТА НИК. Когда было это отражение?

КАРП КАРП. Какое отражение?

УЛИТА НИК. Ну, вот недавно-то. Разве не помнишь, что ли?

КАРП КАРП. Так что же?

УЛИТА НИК. Так много из простого звания в офицеры произошли.

КАРП КАРП. Ведь не бабы же. За свою службу каждый получает, что соответственно.

УЛИТА НИК. А как же вот к нам мещанка ходит, так говорила, что когда племянник курс выдержит, так и она

будет благородная.

КАРП КАРП. Да, дожидайся.

УЛИТА НИК. А говорят, в каких-то землях из женщин полки есть.

КАРП КАРП. (смеется). Гвардия! (Молчание.)

УЛИТА НИК. Говорят, грешно чай пить.

КАРП КАРП. Это еще отчего?

УЛИТА НИК. Потому – из некрещеной земли идет.

КАРП КАРП. Мало ли что из некрещеной земли идет.

УЛИТА НИК. Вот тебе пример: хлеб из крещеной земли, мы его и едим вовремя; а чай – когда пьем? Люди к обедне, а мы за чай; вот теперь вечерня, а мы за чай! Вот и значит грех.

КАРП КАРП. А ты пей вовремя.

УЛИТА НИК. Нет, все-таки..

КАРП КАРП. Все-таки молчи. Ума у тебя нет, разговаривать любишь. Ну, и молчи! (Молчание.)

УЛИТА НИК. Какая Серафимочка у нас счастливая! Была ба барином – барыня стала; и овдовела – все-таки барыня. А как теперь если за князя выйдет, так, пожалуй, княгиня будет.

КАРП КАРП. Все-таки по муже.

УЛИТА НИК. Ну, а как Серафимочка за князя выйдет, неужто я так-таки ничего? Ведь она мое рождение.

КАРП КАРП. С тобой говорить, только мысли в голове разбивать. Я было об деле задумал, а ты тут с разговором да с глупостями. Ведь вашего бабьего разговору, всю жизнь не переслушаешь. А сказать тебе: молчи! так вот дело-то короче будет.

После этого разговора Карп Карпыч замечает про себя, что «кабы ни баб да не страх, с ними бы и не сообразил»... Все, говорит, соблазняют мужчин, и «молодой человек, который и неопытный, может польститься на их прелесть, а человек, который в разум входит и в лета постоянные, для того женская прелесть ничего не значит, даже скверно»... С этой стороны все и смотрят на женщину в «темном царстве», да еще и то считают за одолжение... Видно, что остатки воззрений Востока до сих пор еще очень значительны здесь. Женщин не продают так открыто на рынках, как делали на Востоке, но нельзя оказать, чтоб их не продавали вовсе. И даже спо-

соб продажи все еще довольно циничен и бесстыден, как это можно видеть на нескольких экземплярах свих, выведенных Островским в разных его комедиях. Мы не будем останавливаться на этих лицах, потому что и так уже давно злоупотребляем терпением читателя; но не можем не указать на сцены сватанья в «Бедной невесте». Вся эта пьеса отличается совершенной простотой и обыденностью и отсутствием всяких резких черт, подобных, например, рассуждениям вдовы Кукушкиной в «Доходном месте». Но тем не менее сватанье девушки, заботы матери о ее выдаче, разговоры о женихах – все это может навести ужас на человека, который задумается над комедией... Анна Петровна, мать Марьи Андреевны, – женщина слабая, сырая, позабывчивая, как она сама себя рекомендует. Каждый ее шаг ясно доказывает, что она выросла и прожила большую часть жизни тоже под каким-то гнетом, отнявшим у нее всякую способность и вкус к самостоятельной деятельности. Она ничего сообразить ее может, не знает, – к кому обратиться и чем взяться, суетится и мечется без всякого толку и все жалу-

ется на дочь, что та долго замуж не выходит. Сознавая свое полное ничтожество, она твердит беспрестанно: «Как это без мужчины в доме, уж я и не знаю... Что мы знаем тут, сидя-то... Вот будочник бумагу какую-то принес. Кто ее там разберет? Вот поди ж ты женское-то дело какое! Так и ходишь, как дура... Вот целое утро денег не сочту... Как это без мужчины, это я уж и не знаю; тут и без беды беда». Как видите, это уж такое ничтожество, что перед мужем или кем бы то ни было сильнее она, вероятно, и пикнуть не смела. Но воздух самодурства и на нее повеял, и она без пути, без разума распоряжается судьбою дочери, бранит, попрекает ее, напоминает ей долг послушания матери и не выказывает никаких признаков того, что она понимает, что такое человеческое чувство и живая личность человека. Все это – прямые и несомненные признаки самодурной закалки, доказывающие только, как она легко пристает даже к самым неспособным. Для самодурства, как видно, нет ни пола, ни возраста, ни звания. Женщины, вообще так забитые и презренные в «темном царстве», могут тоже самодурни-

чать, да еще как! Пример – Уланбекова... Мальчишки и старики, купцы, чиновники, помещики – все, кто хотите, начинают, при первой возможности, самодурничать... Человек всеми презрен, тысячу раз бит и оплеван, пред всеми трепещет, кажется уж такое смиренномудрие, что воды не замутит!.. Но заведись у него хоть один сынишка или попади к нему в руки воспитанник, слуга, подчиненный – он немедленно начнет над ними самодурничать, не переставая в то же время дрожать перед каждым встречным, который ему не кланяется... Так уж устроено «темное царство», таковы уставы его иерархии; тут личный характер человека даже мало и значения-то имеет... «Больше все делается от необузданности, а то и от глупости», – как выражается Бородин.

В первой статье о «темном царстве» мы старались показать, каким образом самые тяжкие преступления совершаются в нем и самые бесчеловечные отношения устанавливаются между людьми – без особенной злобы и ехидства, а просто по тупоумию и закосности в данных понятиях, крайне ограничен-

ных и смутных. Напоминая об этом читателям, мы заметим здесь только, что Анна Петровна представляет собою одно из очень ярких проявлений этой *безнравственности по глупости*. Ее отношения к дочери глубоко безнравственны: она каждую минуту пилит Машеньку и доводит ее до страшного нервного раздражения, до истерики, своими непрерывными, жалобами и попреками: «Я тебя растила, я тебя холила, а ты вот чем платишь!.. Ты хочешь свой каприз выдержать и нейдёшь замуж, а мать тут плачь на старости лет... Ведь у нас ничего нет; куда я на старости лет денусь – в кухарки мне, что ли, идти? Ты только повесничать любишь, а мать позабыла, для матери ничего не хочешь сделать... Что ж, авось добрые люди найдутся, не оставят старуху!» Такие речи повторяются перед Марьей Андреевной постоянно, каждый день и каждый чае. Какова же эта мать, имеющая до такой степени барышнический взгляд на дочь! Не ясны ли на ней черты самодурных тенденций, коснувшихся ее хоть слегка и во все не сродных ее характеру, но все-таки успевших сделать ее несносною для окружа-

ющих? Такая личность и такие отношения должны возмущать душу... Но Анна Петровна обезоруживает нас своим необычайным добродушием и недалечностью. В ней нет положительной безнравственности, а есть только отсутствие нравственности, отсутствие всяких гуманных начал в ее организме. Выдача дочери замуж – ее мономания; что с этим прикажете делать? А что она настаивает на согласии Маши выйти за Беневоленского, так это происходит от двух причин: во-первых, Беневоленский возьмется хлопотать об их деле в сенате, а во-вторых, она не может представить, чтобы девушке было не все равно, за кого ни выходить замуж. Когда Машенька объявляет, что Беневоленский ей противен, Анна Петровна даже сообразить этого никак не может, – сначала не обращает внимания и говорит, что у Маши голова вздором набита и что она сама двадцать раз передумает, а потом, после вторичного отказа дочери, объясняет его тем, что «это только каприз, только чтоб матери напротив что-нибудь сделать». Между тем надо заметить, что она и сама Беневоленского вовсе не знает и не одобряет. В

заключительной сцене, когда уже все кончено, она хватилась за ум – сказать Маше: «Нравится ли он тебе? Признаться сказать, скоренько дело-то сделали; кто его знает, – в него не влезешь». Что станете делать с такой наивностью? Даже и сердиться нельзя на нее... Только диву даешься и еще грустнее оглянешься на ту среду, в которой вырастают и прозябают подобные субъекты.

В этой-то среде и мается Марья Андреевна, простенькая и малоразвитая девушка, но с натурой очень деликатною и благородною. Мается она всего больше оттого, что мать торопится ее с рук сбыть и, не довольствуясь свахами, сама хлопочет во все стороны насчет женихов. До какой степени соблюдается деликатность во всем этом, видно, например, из письма, которое пишет к Анне Петровне ее приятель, добрый старичок Добротворский. «Насчет того пункта, о котором вы меня просили, – пишет он, – я в назначенном вами присутственном месте был: холостых чиновников, для Марьи Андреевны достойных, нет; есть один, но я сомневаюсь, чтобы онный вам понравился, ибо очень велик ростом – весьма

много больше обыкновенного – и рябой. Но, по справкам моим от секретаря и прочих его сослуживцев, оказался нравственности хорошей и не пьющий, что, как мне известно, вам весьма желательно. Не прикажете ли посмотреть в других присутственных местах, что и будет мною исполнено с величайшим удовольствием». И это письмо Анна Петровна заставляет читать саму Машеньку! Понятно, что бедная девушка обиделась, но мать никак не может понять, чем тут обижаться!

А из-за чего же терпит несчастная все эти оскорбления? Что ее держит в этом омуте? Ясно что: она *бедная невеста*, ей некуда деваться, нечего делать, кроме как ждать или искать выгодного жениха. Замужество – это ее должность, работа, карьера, назначение жизни. Как поденщик ищет работы, чиновник – места, нищий – подаяния, так девушка должна искать жениха... Над этим смеются современные либералы; но интересно бы знать, что же, в самом деле, станет у нас делать девушка, не вышедшая замуж? Если подумать, так и окажется, что Анна Петровна очень резонно говорит: «Что такое незамужняя жен-

щина? Ничего!.. Что она значит? Уж и вдвое-то дело, плохо, а девичье-то уж и совсем не хорошо! Женщина должна жить с мужем, хозяйничать, воспитывать детей, а ты что ж будешь делать-то старой девкой? Чулок вязать!..» Слова эти глупо-справедливы, и они-то могут служить довольно категорическим ответом на то, почему у нас женщина в семье находится в таком рабском положении и почему самодурство тяготеет над ней с особенной силою.

Некоторую самостоятельность может она приобрести, если имеет в своих руках деньги. Эту сторону женской жизни изобразил Островский в пьесе «Не сошлись характерами». Изящный Поль является чрезвычайно внимательным и покорным к жене, надеясь выпросить у нее денег. Но и сами деньги как-то не то значат в руках женщины, что у мужчины. Понятие о богатстве какого-нибудь самодура довольно скоро срастается с понятием о его личности потому, вероятно, что все-таки он сам своими деньгами распоряжается и пускает их в ход. Поэтому, входя в сношение с богачом, всякий старается как можно более

участвовать в его выгодах; заводя же сношения с женщиной, имеющей деньги, прямо уже хлопочут о том, чтобы завладеть ее достоянием. Сама же личность женщины остается без всякого значения. Это очень хорошо понимает Серафима Карповна, верная наставлениям своего родителя. Выходя замуж, она заранее обещает не давать денег мужу, говоря: «Что ж я буду тогда без капитала? я ничего не буду значить», – на что родитель отвечает многозначительным «обнакновенно»!.. И по выходе замуж она сдерживает свое обещание: когда муж попросил у ней денег, она уехала к папеньке, а мужу, прислала письмо, в котором, между прочим, излагалась такая философия: «Что я буду значить, когда у меня не будет денег? – тогда я ничего не буду значить! Когда у меня не будет денег, – я кого люблю, а меня, напротив того, не будут любить. А когда у меня будут деньги, – я кого люблю, и меня будут любить, и мы будем счастливы»... И ведь справедливо рассуждает Серафима Карповна!..

Но и это ведь еще редкий случай, чтобы к женщине в руки деньги попадали. Для этого

надо, чтоб она рано овдовела от богатого мужа. А то – с какой стати к ней попадут деньги? Да и что она с ними сделает? Разбросает, по модным магазинам либо раздаст по монастырям, смотря по летам и наклонностям. Больше она ничего не в состоянии сделать. Лучше же их употребить на что-нибудь практически путное... И до закону-то ей в наследство идет только четырнадцатая часть, а ежели мимо закона, так и того не следует... Все равно ведь: не удержатся у ней денежки... Разве что жениха себе купит хорошего. Да и того почти никогда не бывает. В женихи к богатым невестам всё являются Вихоревы, Баранчевские, Балзаминовы, Прежневы... Все эти; господа принадлежат к той категории, которую определяет Неуеденов в «Праздничном сне»: «Другой сунется в службу, в какую бы то ни на есть» послужит без году неделю, повиляет хвостом, видит – не тяга, умишка-то не хватает, учился-то плохо, двух перечесть не умеет, лень-то прежде его родилась, а побарствовать-то хочется: вот он и пойдет бродить по улицам до по гуляньям, – не объявится ли какая дура с деньгами»... Действительно, все эти господа

красивы и глупы так, что о них вспоминать тошно: большею частью они или служили, или желают служить в военной службе, имеют склонности к самодурству и очень любят, когда их считают образованными людьми. Но их невежество во всех отношениях равняется темноте самих самодуров, и только, благодаря самодурной системе запрещать учиться низшим и особенно женщинам могут они не казаться смешными в этой среде. Разбирая «Не в свои сани не садись», мы уже достаточно говорили о том, почему Авдотья Максимовна могла увлечься Вихоревым. Здесь прибавим только указание на подобное же отношение Марьи Андреевны к Меричу в «Бедной невесте». Мы заранее отстранили от себя разбор частных художественных достоинств в сценах и лицах комедий Островского; поэтому не будем разбирать в подробности и характер Мерича. Но не можем не заметить, что для нас это лицо изумительно по мастерству, с каким Островский умел в нем очертить приличного, не злого, не отвратительного, но с ног до головы пошлого человека. Это не есть сколок с одного из типов, которых

несколько экземпляров представлено в лучших наших литературных произведениях: он не Онегин, не Печорин, не Грушницкий даже, даже вообще не *лишний человек*. У тех все-таки есть внутри что-то такое, что они считают своим достоянием, чем дорожат, чем воображают себя серьезно проникнутыми. Беда только в том, что они мелковаты натурою и лишены серьезного развития, так что ничто не может пройти в глубину их сознания, ничему не могут они отдаться всею душою. Но у Мерича даже и неглубоких-то убеждений нет: от него всякая истина, всякое серьезное чувство и стремление как-то отскакивает; он как будто не только никогда не жил сознательной жизнью, но даже вовсе и не понимает, что бы это могло значить... Пошлость бесконечная, ничем не усиленная, не подкрашенная, а настоящая, в натуре пошлость – отражается в каждом его слове, в каждом его движении... И в этого человека влюбляется неглупая девушка, с хорошими чувствами!.. Таковы неизбежные последствия самодурной системы воспитания, считающей своим долгом как можно больше вязать и сжимать мо-

лодую натуру и как можно долее оставлять ее в непроглядном мраке...

Марья Андреевна бедна, и Мерич, разумеется, на ней не женится: он принадлежит тоже к числу тех, которым нужны богатые невесты. Но бывают в «темном царстве» и такие случаи, что неразумные бедняки женятся на бедных девушках... И тут-то начинается ад крошечный!.. Ад этот хорошо изображен Островским в «Доходном месте». Читатели наши, конечно, помнят историю молодого Жадова, который, будучи племянником важной особы, раздражает дядю своим либерализмом и лишается его благосклонности, а потом, женившись на хорошенькой и доброй, но бедной и глупой Полине и потерпевши несколько времени нужду и упреки жены, приходит опять к дяде – уже просить доходного места. Изложение семейных отношений и указание их влияния на общественную деятельность представляется нам лучшею стороною этой комедии. А затем любопытна внутренняя, душевная сторона жизни этих людей, которых мы официально так презираем и клеймим названиями крючкотворцев и взяточников.

Здесь в полной силе выразилось одно из главных свойств таланта Островского – умение заглянуть в душу человека и изобразить его человеческую сторону, независимо от его официального положения. Об этом много уже говорили мы, разбирая «Своих людей», и потому теперь укажем только на некоторые черты, относящиеся специально к чиновникам. Благодушие и особенного рода совестливость взяточников рисуются несколькими беглыми чертами еще в «Бедной невесте», в лице добряка Добротворского. Но в «Доходном месте» черты эти гораздо ярче в Юсове и Белогубове. Лица эти прямо наводят нас на мысль, что все их беззакония – чисто следствие ложного их положения в обществе и ложных понятий, приобретенных вследствие фальшивости положения. А ложное положение их есть опять-таки следствие одной общей причины всех гадостей. «темного царства» – самодурства. В сфере чиновнической оно еще гаже и возмутительнее, чем в купеческой, потому что здесь дело постоянно идет об общих интересах и прикрывается именем права и закона. Кроме того, здесь мы видим уже бесчислен-

ное множество оттенков и степеней; и чем выше, тем самодурство становится наглее внутренне и губительнее для общего блага, но благообразнее и величавее в своих формах. С Юсовым, когда он был мальчишкой, мелкие чиновники обращались, как с собачонкой; Юсов с Белогубовым обращается уже не столько грубо; Вышне夫斯基 же говорит с Юсовым таким достойным тоном, что нужно только благоговеть, а шокироваться вовсе нечем. Но, в сущности, вся беда в ведомстве Вышневского оттого и происходит, что он сам заражен самодурством, а за ним уже и все. Законов никаких никто не признает, честности никто в толк взять не может, ума не определяют иначе, как способностью нажиться, главною добродетелью признают смирение пред волею старших. Юсов простодушно признает, что он гордости ни с кем не имеет, только вот высокоглядов не любит, нынешних образованных-то. «С этими, – говорит, – я строг и взыскателен; у меня правило – всячески их теснить для пользы службы: потому – от них вред». Не мудрено в нем такое воззрение, потому что он сам «года два был на побе-

гушках, разные комиссии исправлял: и за водкой-то бегал, и за пирогами, и за квасом, кому с похмелья, – и сидел-то не на стуле, а у окошка, на связке бумаг, и писал-то не из чернильницы, а из старой помадной банки, – и вот вышел в люди», – и теперь признает, что «все это не от нас, свыше!..» И он не по злобе и не по плутовству теснит образованных людей, а у него уж в самом деле такое убеждение сложилось, что от них вред для службы... То же убеждение передано и Белогубову, который говорит: «Что за польза и от ученья, когда в человеке страху нет, – трепету перед начальством». Да иначе думать они и не могут, потому что все, их окружающее, на каждом шагу подтверждает их мнение. Даже те образованные, которые спорят с ними, – как часто они собственным же поведением обличают свою неправоту! – Так случилось и с Жадовым. Сначала Белогубов как-то ежился перед Жадовым и признавал какую-то силу в его умственном превосходстве. Он смутно ощущал, что унижаться и подличать, зависеть от первой прихоти и отказываться от своей воли – не всегда приятно. Видя, что Жадов гораз-

до свободнее и независимее в своих поступках, Белогубов почти завидовал ему. На вопрос своей невесты, почему он откладывает свадьбу, когда Жадов свою не откладывает, он отвечал: «Совсем другое дело-с. У него дяденька богатый-с, да и сам он образованный человек, везде может место иметь. Хоть и в училище пойдет, – все хлеб-с. А я что-с? Пока не дадут места столоначальника, ничего не могу-с»... Но получивши это место, между тем как Жадов и свое-то потерял, Белогубов начинает уже чувствовать самодовольное сожаление к Жадову, которое и выражает ему при встрече в трактире. Что же, в самом деле, к чему послужило Жадову *ученье без трепета?* Только к тому, что он мучился сам, мучил целый год жену свою и, наконец, пошел к дяде просить Белогубовского места... И дядя поделом его отчистил... «Вот, говорит, они, герои-то! Молодой человек, который кричал на всех перекрестках про взяточников, говорил о каком-то новом поколении, – идет к нам же просить доходного места, чтоб брать взятки!.. Хорошо новое поколение!»

Вообще Вышневецкий, утвердившись на

своей точке зрения status quo, чрезвычайно логически разбивает в прах все благородные фразы Жадова и, как дважды два – четыре, доказывает ему, что, при настоящем порядке вещей, невозможно честным образом обеспечить себя и свое семейство. Честные способы приобретения слишком ничтожны, да и тех еще не дадут тому, кто не захочет угождать, а будет противоречить. И это ведь не бедственная случайность, а тяжкая необходимость, вытекающая прямо и неизбежно из системы самодурства, развитой в «темном царстве». «Будь хоть семи пядей во лбу, но если вам не нравится, то останется в ничтожестве; и сам виноват: зачем не умел заслужить вашей милости». Вот и все нрава, и вся философия «темного царства»! И вовсе не удивительно, если Юсов, узнав, что все ведомство Вышневецкого отдано под суд, выражает искреннее убеждение, что это «по грехам нашим – наказание за гордость...» Вышневецкий то же самое объясняет, только несколько рациональнее: «Моя быстрая карьера, – говорит, – и заметное обогащение – вооружили против меня сильных людей...» И, сходясь в этом объясне-

нии, оба администратора остаются затем совершенно спокойны совестью относительно законности своих действий... Да и отчего бы не быть им спокойным, когда их деятельность, равно как и все их понятия и стремления так гармонируют с общим ходом дел и устройством «темного царства»?

* * *

Но ведь есть же какой-нибудь выход из этого мрака?.. Островский, так верно я полно изобразивши нам «темное царство», показавши нам все разнообразие его обитателей и давши нам заглянуть в их душу, где мы успели разглядеть некоторые человеческие черты, должен был дать нам указание и на возможность выхода на вольный свет из этого темного омута... Иначе – ведь это ужасно – мы остаемся в неразрешимой дилемме: или умереть с голоду, броситься в пруд, сойти с ума, – или же убить в себе мысль и волю, потерять всякое нравственное достоинство и сделаться раболепным исполнителем чужой воли, взяточником, мошенником, для того чтобы безмятежно провести жизнь свою... Если только к этому приводит нас вся художественная де-

тельность замечательного писателя, так это очень печально!..

Печально, – правда; но что же делать? Мы должны сознаться: выхода из «темного царства» мы не нашли в произведениях Островского. Винить ли за это художника? Не оглянуться ли лучше вокруг себя и не обратить ли свои требования к самой жизни, так вяло и однообразно плетущейся вокруг нас... Правда, тяжело нам дышать под мертвящим давлением самодурства, бушующего в разных видах, от первой до последней страницы Островского; но и окончивши чтение, и отложивши книгу в сторону, и вышедши из театра после представления одной из пьес Островского, – разве мы не видим наяву вокруг себя бесчисленного множества тех же Брусковых, Торцовых, Уланбековых, Вышневских, разве не чувствуем мы на себе их мертвящего дыхания?.. Поблагодарим же художника за то, что он, при свете своих ярких изображений, дал нам хоть осмотреться в этом темном царстве. И то уж много значит... Выхода же надо искать в самой жизни: литература только воспроизводит жизнь и никогда не дает того, чего нет в

действительности.

Впрочем, попытки освобождения от тьмы бывают в жизни: нельзя пройти мимо их и в комедиях Островского. Только эти попытки ужасны, да притом и остаются все-таки только попытками. Лиц совершенно чистых от житейской грязи мы не находим у Островского. Мыкин, в «Доходном месте», может быть, чист, потому что ни в каких общественных службах не участвует, а «учительствует поне-много». Но с ним мы так мало знакомимся из его разговора с Жадовым, что еще не можем за него поручиться. Есть еще в «Бедной невесте» одна девушка, до такой степени симпатичная и высоконравственная, что так бы за ней и бросился, так и не расстался бы с ней, нашедши ее. Но и эта девушка уже забрызгана грязью чужих пороков. Это Дуня, с которою пять лет жил Беневоленский до своей женитьбы и которая теперь пришла, пользуясь свадебной суматохой, взглянуть из толпы на невесту своего недавнего друга. Она встречается с самим Беневоленским в проходной комнате, вроде буфета; вместе с нею – подруга ее Паша, которой она перед этим только что

бросила несколько слов о том, как он над ней, бывало, буйствовал, пьяный... Беневоленский, увидя ее, конфузится и просит ее быть, поосторожнее. «А хочешь, – сейчас дебош сделаю?» – говорит она. «Дура, дура! что ты!» – в испуге восклицает Беневоленский, но она его тотчас успокаивает, обещаясь, что и к нему больше не придет. Затем он старается ее выпроводить, и между ними происходит следующая сцена, раскрывающая перед нами чувства девушки, изумительные по своей чистоте и благородству:

БЕНЕВОЛ. Здесь, Дуня тебе что же делать? Посмотри невесту и ступай.

ДУНЯ. Уж я видела. Хороша ведь, Паша, уж можно сказать, что хороша!.. (К Беневоленскому.) Только сумеешь ли с такой женой жить? Ты смотри, не загуби чужого веку даром. Грех тебе будет. Остепенись, живи хорошенько. Это ведь не со мной: жили, жили, да и был таков. (Утирает слезы.)

ПАША. А ты говорила, что тебе его не жаль...

ДУНЯ. Ведь я его любила когда-то...

Что ж, надо же когда-нибудь расста-

ваться, не век так жить. Еще хорошо, что женится; авось будет жить порядочно. А все-таки, Паша, ты то возьми, – лет пять жили... ведь жалко... Конечно, немного я от него добра видела... больше злое... одного сраму что перенесла. Так, ни за что прошла молодость, и помянуть нечем.

ПАША. Что делать, Дуня...

ДУНЯ. А ведь, бывало, и ему рада-радешенька, как приедет... Смотри ж, живи хорошенько.

БЕНЕВОЛ. Ну, уж конечно!

ДУНЯ. То-то же. Это ведь тебе на век, не то, что я... Ну, прощай, не поминай лихом, добром нечем. Что это я, как дура, расплакалась, в самом деле! Э, махнем рукой, Паша, – завьем горе веревочкой!

БЕНЕВОЛ. Прощай, Дуня.

ДУНЯ. Адье, мусье! Пойдем, Паша (Уходят.)

Большей чистоты нравственных чувств мы не видим ни в одном лице, комедий Островского. Это уж не та безразличная доброта, которою отличается дочь Русакова, не та овечья кротость, какую мы видим в Любви Гор-

деевне, не те неопытные понятия, какими руководится Надя... Здесь сила сознательной решимости проглядывает в каждом слове; все существо этой девушки не придавлено и не убито; напротив, оно возвышено, просветлено созданием того добра, которое она приносит, отказываясь от прав своих на Беневоленского. Ей в самом деле легко было сделать дебош и сорвать сердце; но она не хочет этого, она чистосердечно отдает справедливость красоте невесты, и сердце ее начинает наполняться довольством за счастье своего бывшего друга. Полная благожелательства, она радуется тому, что он женится, потому что это дает ей надежду на его нравственное исправление... А потом – какая радушная, чистая заботливость о той, о сопернице ее... И, наконец, какая грациозная прелесть характера выражается в самом этом горе, завитом веревочкой, и в этом ломаном прощанье, в котором, однако, нельзя не видеть огорчения и досады все еще любящего сердца... Да, эта девушка сохранила в себе чистоту сердца и все благородство, доступное человеку. Но что же она такое в нашем обществе? Не отвержена

ли она им? Да и не этому ли отвержению, – не отчуждению ли от мрака самодурных дел, кишящих в нашей среде общественной, надо приписать и то, что она так отрадно сияет перед нами благородством и ясностью своего сердца?..

Есть в комедиях Островского и еще лицо, отличающееся большою нравственной силой. Это – Любим Торцов. Он грязен, пьян, тяжел; он надорван жизнью и очень запустил сам себя. Но та же самая жизнь, лишив его готовых средств к существованию, унизив и заставив терпеть нужду, сделала ему то благодеяние, что надломила в нем основу самодурства. Он – родной братец Гордея Карпыча и, по его же рассказам, был смолоду самодуром не хуже его. До как пришлось ему паясничать на морозе за пяточок, да просить милостыню, да у брата из милости жить, так тут пробудилось в нем и человеческое чувство, и сознание правды, и любовь к бедным братьям, и даже уважение к труду. Прося брата, чтоб выдал дочь за Митю, Любим Торцов прибавляет: «Он мне угол даст; назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне паясничать

на морозе-то из-за куска хлеба; хоть под старость-то, *да честно пожить*. Ведь я народ обманывал: просил милостыню, а сам пропивал. *Мне работишку дадут, у меня будет свой горшок щей*»... Из этих желаний и признаний видно, что действительно нужда совершила в натуре Любима Торцова перелом, заставивший его устыдиться прежних самодурных начал столько же, как и недавнего беспутства.

В примере Торцова можно отчасти видеть и выход из темного царства: стоило бы и другого братца, Гордея Карпыча, также проучить на хлебе, выпрошенном Христа ради, – тогда бы и он, вероятно, почувствовал желание «иметь работишку», чтобы жить честно... Но, разумеется, никто из окружающих Гордея Карпыча не может и подумать о том, чтобы подвергнуть его подобному испытанию, и, следовательно, сила самодурства по-прежнему будет удерживать мрак над всем, что только есть в его власти!..

А свет образования? Он должен же наконец разогнать этот мрак. Без всякого сомнения!.. Но вспомните, что мы говорили о том, как образование прививается к самодурству...

Вспомните и то, какие результаты дало образование в Вихореве, Бальзаминове, Прежнев, в Липочке, Капочке, Устенъке, в Арине Федотовне... Оглянитесь-ка вокруг. – какие сцены, какие разговоры поразят вас. Там Рисположенский рассказывает, как в стране необитаемой жил маститый старец с двенадцатью дочерьми мал мала меньше и как он пошел на распутие, – не будет ли чего от доброхотных дателей; тут наряженный медведь с козой в гостиную пляшет, там Еремка колдует, и колокольный звон служит к нравственному исправлению, там говорят, что грех чай пить, и проч., и проч. ...А разговоры-то! Настасья Панкратьевна скажет, что учиться не надо много; а Ненила Сидоровна подхватит: «Да, вот насчет ученья-то: у нас соседка отдавала сына учиться, а он глаза и выколол». А то Ненила Сидоровна скажет: «Молодой человек, слушайте старших, вы еще не знаете, как люди хитры»; а Настасья Панкратьевна подтвердит: «Да, да, у нас у кучера поддевку украли – в одну минуточку»... Или, например:

НИЧКИНА. Да вот еще, скажите вы мне: говорят, царь Фараон стал по но-

чам с войском из моря выходить.

БАЛЬЗАМИНОВ. Очень может быть-с.

НИЧКИНА. А где это море?

БАЛЬЗАМИНОВ. Должно быть, недалеко от Палестины.

НИЧКИНА. А большая Палестина?

БАЛЬЗАМИНОВ. Большая-с.

НИЧКИНА. Далеко от Царьграда?

БАЛЬЗАМИНОВ. Не очень далеко-с.

НИЧКИНА. Должно быть, шестьдесят верст. Ото всех от таких местов шестьдесят верст, говорят... только Киев дальше.

А припомните-ка разговор Карпа Карпыча с Улитой Никитишной – о дамах!.. А разговор кучеров об австрияке! Или также – разговор Вихорева с Баранчевским о промышленности и политической экономии, или разговоры Прежнева с матерью о роли в обществе, или Недопекина с Лисавским (в «Утре молодого человека») о красоте и образовании, или Капочки с Устенькой об учтивости и общежитии (в «Праздничном сне»). Вот вам и образование: этаких господ, как Недопекин, Вихорев, таких девушек, как Липочка и Капочка, оно уже произвело довольно. Но чтоб оно сде-

лало что-нибудь больше, до этого самодуры не допустят!.. Они и то говорят, что образованных-то теснить надо для пользы службы!.. А еще что за образованные перед ними? Кого они испугались-то? Жадова! А Жадов сам признается, что у него воли нет, энергии недостает...

А в самом деле – слабо должно быть самодурство, если уж и Жадова стало бояться!.. Ведь это хороший признак!..

На этом хорошем признаке мы и остановимся наконец. Не хотим делать никаких общих выводов о таланте Островского. Мы старались показать, *что* и *как* охватывает он в русской жизни своим художественным чувством, *в каком виде* он передает воспринятое и прочувствованное им, и какое значение в наших понятиях должно придавать явлениям, изображаемым в его произведениях. Мы нашли у Островского полноту изображения русской жизни, с ее Подхалюзинским сюртучком, Вихоревскими перчатками, Наденькиным заплаканным платочком, Шадовскою тросточкой и с Торцовской самодурно-безобразной шапкой... Многие мы не досказали, об

ином, напротив, говорили очень длинно; но пусть простят нам читатели, имевшие терпение дочитать нашу статью. Виною того и другого был более всего способ выражения, – отчасти метафорический, – которого мы должны были держаться. Говоря о лицах Островского, мы, разумеется, хотели показать их значение в действительной жизни; но мы все-таки должны были относиться, главным образом, к произведениям фантазии автора, а не непосредственно к явлениям настоящей жизни. Вот почему иногда общий смысл раскрываемой идеи требовал больших распространений и повторений одного и того же в разных видах, – чтобы быть понятным и в то же время уложиться в фигуральную форму, которую мы должны были взять для нашей статьи, по требованию самого предмета... Некоторые же вещи никак не могли быть удовлетворительно переданы в этой фигуральной форме, и потому мы почли лучшим пока оставить их вовсе. Впрочем, многие выводы и заключения, которых мы не досказали здесь, должны сами собой прийти на мысль читателю, у которого достанет терпения и внимания

ДО КОНЦА СТАТЬИ.

Примечания

Впервые опубликовано в «Современнике», 1859, № VII, отд. III, стр. 17–78 (главы I, II) и № IX, отд. III, стр. 53–128 (главы III–V), с подписью: Н. – бов. Перепечатано в Сочинениях Н. А. Добролюбова, т. III. СПб., 1862, стр. 1–139, с существенными дополнениями и изменениями журнального текста, восходящими к не дошедшим до нас цензурным типографским гранкам статьи.

Автограф не сохранился, за исключением трех страниц главы второй печатного текста (от слов: «По этому правилу» – в наст. издании стр. 107, с. 8 снизу – до слов: пожалуй, и» – стр. 110, с. 28), хранящихся в ГПБ. См. фотокопию одного из этих листов: Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 5. М., 1962.

Печатается в настоящем издании по тексту 1862 г., с учетом стилистической правки, сделанной Добролюбовым в «Современнике».

Статья «Темное царство» – одно из важнейших литературно-теоретических выступлений Добролюбова, сочетавшее мастерский критический разбор драматургии Островско-

го с далеко идущими выводами общественно-политического порядка.

Характеризуя очень большое национально-демократическое значение комедий Островского, одинаково не понятых критикой и славянофильского и буржуазно-либерального лагеря, Добролюбов доказывал, что пафосом Островского как одного из самых передовых русских писателей является обнажение «неестественности общественных отношений, происходящих вследствие самодурства одних и несправедливости других». Верно и глубоко определив общественное содержание драматургии Островского, его «пьес жизни», Добролюбов показал типическое, обобщающее значение его образов, раскрыл перед читателем потрясающую картину «темного царства», гнетущего произвола, нравственного растления людей.

Добролюбов обвиняет и негодует. Негодует против безвольных, слабых, смирившихся перед грубой силой. Осуждение Добролюбовым «безответных» отвечало революционно-демократической концепции народа. Чернышевский с горечью писал в статье: «Не начало ли

перемены?»: «Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, в простом народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях» («Современник», 1861, № XI). Эта рутина обезличенных людей ненавистна Добролюбову: «Самодура уничтожить было бы нетрудно, – говорит он, – если б энергически принялись за это честные люди. Но беда в том, что под влиянием самодурства самые честные люди мельчают и истомляются в рабской бездеятельности». Добролюбов называет их людьми «обломовского типа». Они стоят «в стороне от практической сферы». Г. В. Плеханов верно писал, что статьи Добролюбова об Островском являлись «энергичным призывом к борьбе не только с самодурством, но – и это главное – с теми «искусственными» отношениями, на почве которых росло и процветало самодурство. В этом их основной мотив, в этом их великое историческое значение» («Добролюбов и Островский», – Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., 1948, стр. 464).

Добролюбов – утопист в оценке историче-

ского будущего России. Его мысль остановилась на пороге исторического материализма, но насыщена революционной активностью. Поэтому так часты и необходимы в его статье многозначительные поучения: «Законы имеют условное значение по отношению к нам. Но мало этого: они и сами по себе не вечны и не абсолютны. Принимая их, как выработанные уже условия прошедшей жизни, мы через то никак не обязываемся считать их совершеннейшими и отвергать всякие другие условия. Напротив, в мой естественный договор с обществом входит, по самой его сущности, и обязательство стараться об изыскании возможно лучших законов».

В статье Добролюбова разработаны принципы «реальной критики» – основы социологической метода анализа произведений искусства, который поощряла революционно-демократическая эстетика. «Реальная критика», по мнению Добролюбова, исходит из действительных фактов, изображаемых в художественном произведении. Она не навязывает автору «чужих мыслей». Задачи реальной критики заключаются в том, чтобы пока-

зать, во-первых, смысл, какой имеют «жизненные факты, изображаемые художником»; во-вторых – «степень их значения в общественной жизни».

Принципы «реальной критики» направлены против эстетской, в истолковании Добролюбова, схоластической критики. Они опираются на его концепцию реализма. «...Главное достоинство писателя состоит в правде его изображений», – одно из основных положений критика. Эту правду писатель постигает, если он обращается к существенным сторонам жизни. «Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, – можно решить и то, как велик его талант».

Произведения писателя-реалиста являются хорошей основой для суждений о его взглядах, а «образы, созданные художником, собирая в себе, как в фокусе, факты действительной жизни, весьма способствуют составлению и распространению между людьми правильных понятий». Добролюбов видит связь между мировоззрением и талантом художни-

ка. Писатель, руководимый «правильными началами», имеет «выгоду пред неразвитым или ложно развитым писателем». Однако, зачастую, по словам Добролюбова, писатель может в «живых образах» «неприметно для самого себя уловить и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определит его рассудком».

В освещении теоретических вопросов Добролюбовым сказывается антропологическое понимание некоторых особенностей творческого процесса. Критик особенно доверяет «художественной натуре» писателя. «...Мы не придаем, – пишет он, – исключительной важности тому, каким теориям он следует». Художественная правда может оказаться в противоречии с «отвлеченными понятиями». Анализируя комедию «Бедность не порок», Добролюбов считает, что Островский преследовал «самодурство во всех его видах» «совершенно независимо» от своих славянофильских иллюзий («временных воззрений») и «теоретических убеждений». Утверждая это, Добролюбов расходился в оценке комедии «Бедность не порок» с Чернышевским.

И все-таки теория «реальной критики» была значительным достижением в революционно-демократической эстетике, она предшествовала в некоторых отношениях теории отражения, сформулированной В. И. Лениным в его статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908).

Статья «Темное царство» имела очень большой литературный и общественно-политический резонанс. Н. В. Шелгунов вспоминал: «Творчество Островского дало ему <Добролюбову. – Г. К.> повод подсказать и осветить ту страшную пучину грязи, в которой ходили, пачкались и гибли целые ряды поколений, систематически воспитанных в собственном обезличении. «Темное царство» Добролюбова было не критикой, не протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие, это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий» (Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М. – Л., 1923, стр. 169). Об этом же писал в 1863 г. Д. И. Писарев, свидетельствуя, что, несмотря на враждебные отношения к статье умеренно-либеральной и

консервативной критики, «Темное царство» Добролюбова «читалось с сочувствием и с увлечением в самых отдаленных углах России» («Наша университетская наука». – Д. И. Писарев. Сочинения, т. 2. М., 1955, стр. 180).

Против Добролюбова выступили все те, с которыми прямо или косвенно он полемизировал в своей статье. Ап. Григорьев решительно возражал против характеристики Островского как критика «темного царства». Он отстаивал свою линию: «Самодурство, это только накипь, пена, комический осадок; оно, разумеется, изображается поэтом комически, – да и как же иначе и изображать? – но не оно ключ к его созданиям!» Григорьев уверял, что «симпатий и антипатии массы» разойдутся с симпатиями и антипатиями Добролюбова («После «Грозы» Островского». – «Русский мир», 1860, № 5, 6). П. В. Анненков пытался доказать, что опыт Островского-драматурга убеждает в том, что «можно приближаться к простонародью и вообще к разным сословиям нашим с чем-нибудь иным, кроме сострадания, осмеяния и поучения» («О бурной рецензии на «Грозу» г. Островского, о на-

родности, образованности и о прочем». – «Библиотека для чтения», 1860, № 3). М. М. Достоевский в рецензии на «Грозу» («Светоч», 1860, № 3), а несколько позже Н. Н. Страхов в статье «Бедность нашей литературы» («Отеч. записки», 1867, т. СХХIV, от. 2, стр. 25) поддержали Ап. Григорьева.

Добролюбов вновь полемизировал с некоторыми из них, защищал основные свои тезисы в статье «Луч света в темном царстве». См. стр. 231–300 настоящего издания. Попытки ослабить или оспорить выводы Добролюбова были безуспешны. Самый термин «темное царство» (в различном, правда, его истолковании) сразу же вошел в широкий литературно-общественный оборот. См. статьи критиков А. Пальховского («Московский вестник», 1859, № 49), А. Мельникова-Печерского («Северная пчела», 1860, № 41 и 42), М. И. Дарагана («Русская газета», 1859, № 8), Н. Д. Зайончковской («Отеч. записки», 1862, № 1, стр. 373).

Как отнесся к статье Добролюбова сам Островский? Прямых свидетельств для ответа на этот вопрос сохранилось очень мало, но все те документальные и мемуарные материалы,

которыми мы располагаем, не оставляют никаких сомнений в высокой оценке Островским статьи «Темное царство». Критическая сводка свидетельств об этом дана в статье: В. Я. Лакшин. Об отношении Островского к Добролюбову – «Вопросы литературы», 1959, № 2. О непосредственном воздействии «Темного царства» на некоторые страницы «Грозы», над которой Островский работал в пору публикации ее Добролюбовым, см. Е. Холодов. Островский читает «Темное царство». – «Вопросы литературы», 1959, № 12, стр. 95–100.

Статья «Темное царство» была внимательно прочитана Карлом Марксом, который подчеркнул в четырехтомнике сочинений Добролюбова (1862) все места, говорящие о пришибленности и безответственности русской общественности. Отмечены им были также все суждения Добролюбова о «женской доле», о положении «девушки, мужней жены и невестки в семье» (Ф. Гинзбург. Русская библиотека Маркса и Энгельса. – «Группа “Освобождение труда”», сб. 4. М. – Л., 1926, стр. 387). В. И. Ленин использовал добролюбовский образ «темного царства» для характеристики

дореволюционной России в статье «К вопросу об аграрной политике современного правительства» (1913).

Сноски

1

Впрочем, читатели могут с большим удовольствием пропустить всю историю критических мнений об Островском и начать нашу статью со второй ее половины. Мы сводим на очную ставку критиков Островского более затем, чтобы они сами на себя полюбовались.

[^^^]

2

Так, в разборе «Бедность не порок» один критик упрекал Островского за то, что в первом своем произведении он «был чистым сатириком: ничто противодействующее не было выставлено им наряду с показанным злом» («Москв.», 1854 г., № 5){43}. Критик «Русской беседы» объяснялся еще резче. Разбирая пьесу «Не так живи, как хочется», он отозвался о «Своих людях» следующим образом: «Свои люди» есть, конечно, такое произведение, на

котором лежит печать необыкновенного дарования, но оно задумано под сильным влиянием отрицательного воззрения на русскую жизнь, отчасти смягченного еще художественным исполнением, и в этом отношении должно отнести его, как ни жалко, к последствиям *натурального направления*» («Русск. беседа», 1856 г., № 1){44}.

[^^^]

3

Один из критиков отдал преимущество комедии «Бедность не порок» пред «Своими людьми» за то, что в «Бедности не порок» «Островский является уже не одним сатириком, – что, рядом со злом фальшивой цивилизации, здесь ему видится в том же быту благодушная, простая, крепко связанная с родными преданиями и обычаями жизнь, и все сочувствие его, при столкновении таких двух враждебных начал, естественно склоняется на сторону последнего» («Москв.», 1854 г., № 5){45}. Критик «Русской беседы» также одобряет Островского за то, что после «Своих людей»

отрицательное отношение к жизни сменилось у него *сочувственным* и, вместо мрачных изображений, какие мы видели в «Своих людях», появляются образы, создание которых внушено другими, лучшими впечатлениями от жизни.

[^^^]

4

Так, в «Отечествен. записках», при разборе той же комедии «Бедность не порок», Островский заслужил упрек в том, что у него «самые грязные стороны действительности *не только списаны подлинными ее красками, но и возведены в достоинство идеалов*». Видно, что критику не понравилось самое списыванье грязных сторон действительности{46}. Упрек за это постоянно слышался, рядом с упреком в идеализации, и в недавнее время выражен был даже в такой форме: «Комедия под пером г. Островского изменила своему художественному значению и сделалась просто копиею действительной жизни» («Атен.», 1859 г., № 8){47}.

[^^^]

5

«Эти лица, выведенные на сцену, должны бы возбудить в читателе или зрителе отвращение к себе, но они сами по себе возбуждают только сострадание. Взятничество, эта общественная язва, – не очень омерзительно и ярко выставлено в их поступках... А можно было бы показать, как взяточники и казнокрады всякого рода терзают, безобразят и губят всюду, внутри и вне, нашу многострадальную, родную матушку Россию» («Атен.», 1858 г., № 10){48}.

[^^^]

6

«Все лица «Воспитанницы», кроме Нади, – все не лица, а какие-то отвлеченные и фильтрованные дозы разного рода человеческой грязи, от которых на душе у читателя остается самое тяжелое и неприятное впечатление» («Весна», статья г. Ахшарумова){49}.

[^^^]

7

«Увлеченный благородством и новостью своих задач, автор не выносил их достаточно в душе, не дал им дозреть до надлежащей полноты и ясности представления... Сожми Островский свою драму в более тесные рамы, умерь несколько свои в высокой степени благородные и широкие задачи, не выброси он сразу всего, что передумано, перечувствовано им в отношении к избранному драматическому положению, создание получило бы стройность и целость, хотя, может быть, утратило бы несколько своей энергии» («Москв.»,

1853 г., № 1, разбор «Бедной невесты»){50}.

«Избрав для разрешения *своей задачи* драматическую форму, автор тем самым принял на себя обязанность удовлетворить всем требованиям этой формы, т. е. прежде всего произвести впечатление на читателя или зрителя драматическою коллизиею и движением и этим путем напечатлеть в нем основную идею комедии.

В этом отношении мы не можем остаться совершенно довольны новою пьесою г. Островского и пр.» («Москв.», 1854 г., № 5, разбор «Бедность не порок»). «В произведениях г. Островского *задачи* не только правильны, но и полны глубокого смысла и всегда здравы в нравственном отношении... и нельзя не пожалеть, что именно это произведение («Не так живи, как хочется»), так прекрасно задуманное и так прекрасно, в драматическом отношении, расположенное, по исполнению слабее всех других дотоле писанных произведений г. Островского» («Рус. бес.», 1856 г., № 1).

[^^^]

«Рабская подражательность – не в языке только новой комедии, но и во всем почти ее содержании, как в концепции целого, так и в подробностях. Напрасно стали бы вы искать в ней хоть одной идеальной черты: ее нет ни в лицах, ни в самом действии... Мы прежде всего желали бы автору выйти из того тесного круга, в котором он до сих пор заключил свою деятельность, и несколько поболее расширить свой умственный горизонт» («Отечествен. записки», 1854 г., № 6).

[^^^]

В особенности выразилось это в нахальной статье, недавно напечатанной в «Атенее». Заключительное слово критики таково: «Произведения г. Островского, выражая жизнь действительную, сами по себе не имеют никакой жизни; в них нет *ни идеи*, ни действия, ни характеров истинно поэтических... Надобно отдать справедливость автору в том отношении, что он умел представить в них (в комедиях из купеческого быта) довольно верную, действительную картину купеческого и мещанского быта – и только. Одно произведение вышло из ряду их именно: «Бедная невеста», но зато она и хуже всех. Что касается до *богатства мыслей*, разнообразия характеров, то в этом отношении мы не можем сказать ничего утешительного. Довольно узнать только то, что одно произведение служило, так сказать, поводом другому, по какому-нибудь противоположению. Так, напр., комедия «Свои люди – сочтемся» имеет к себе в pendant драму «Не так живи, как хочется», которую можно назвать также: «Свои люди – со-

чтемся». «Бедная невеста» дала повод написать комедию «Не в свои сани не садись», или «Богатую невесту»; к ним очень близка комедия «Бедность не порок», которую можно назвать совершенно справедливо «Бедный жених». *Из этого видно, насколько богата фантазия г. Островского запасом идей и образов для их выражения».*

Припомним, что долгое время хвалители Островского удивлялись именно неисчерпаемому богатству его фантазии в создании множества новых типов и драматических положений, и нам будет ясно, как ничтожна была сочувственная ему критика для уяснения значения этого писателя.

[^^^]

10

Это все в «Атенее».

[^^^]

11

Эти замечания действительно делались Островскому мудрыми критиками...

[^^^]

12

Решаемся привести еще выписку из курьезной статьи г. Н. П. Некрасова из Москвы, помещенной в *последнем* № «Атенейя» и отчасти объясняющей собою недолговечность этого ученого журнала. «Спрашивается: к чему было Большову, попавшему за свой обман в тюрьму, являться опять на сцену? Неужели автор хотел возбудить сочувствие к нему, показывая, как в действительности бывает стыдно купцу сидеть в яме? Но ведь всякий имеет полное право спросить: *чем же* Боль-

шов заслужил сочувствие? К чему же вся эта плаксивая четвертая сцена в последнем действии? Вероятно, к тому, чтобы показать почтеннейшей публике: «Смотрите, дескать, как не подобает купцу обманывать: пожалуй, самого обманут еще хуже». Какая прекрасная мысль, как велик ее нравственный принцип!..»

Критик, очевидно, недалеко ушел от самого Самсона Силыча в понимании нравственных принципов и потому приведенные нами выше слова Большова: «Не гонись за большим, чтоб последнего не потерять», – принимает за основную идею всей пьесы. Смешав таким образом понятия Большова с идеями самого автора пьесы, критик начинает читать следующее наставление Островскому: «Чувствует ли автор, как опасно подчинять искусство действительности? Замечает ли он, как ничтожна нравственная сторона его произведения? Неужели истинно художественное произведение может быть основано на таком житейском правиле: «Не обманывай, чтобы не быть обманутым», или «Не рой другому яму, – сам в нее попадешь», или еще бли-

же к нашей комедии – «Не обманывай, потому что обман не всегда удается». В чем же спасено здесь нравственное достоинство человека? Осмеян ли по крайней мере обман, как пошлая сторона природы человеческой? Нет... Комедия не говорит, насколько обман (в каком бы образе он ни проявлялся) противен нравственной природе человека, а говорит только, что купцы, несмотря на недостатки наших законов о долгах, иногда попадают в своем обмане, и их за это сажают в тюрьму и потом отсылают в Сибирь. Да, нельзя не согласиться, – так действительно бывает. Что ж за необходимость повторять это на сцене?..» И непосредственно за наивным вопросом критик победоносно восклицает: «Так применил г. Островский выбранное им действие к идее произведения!..»

Мы полагаем, что теперь, по прекращении «Атенея»{51}, г. «Н. П. Некрасов из Москвы» мог бы с успехом писать в «Орле» г. Балашевича{52}.

Впрочем, в новом издании Островского и Подхалюзин не благоденствует, а уводится к концу пьесы кварталным, имея затем в перспективе Сибирь. Нам кажется, что эта прибавка совершенно лишняя. Конечно, автор сделал ее не по своим убеждениям, а в угоду некоторым, слишком уж строгим пуристам, требовавшим, чтоб порок непременно был наказан. Но мы видели, что здесь, дело не в лицах и не во внешнем факте, а в самом быте, в самых связях, которыми держится весь этот быт. Притом же мы знаем, что если Подхалюзин может подвергнуться наказанию, то разве за какую-нибудь оплошность свою, — за то, что не совсем чисто умел обработать дельце. Да притом, у него остается еще один ресурс: кварталного встречает он предложением выпить водочки и поговорить с ним, надеясь таким образом уладить дело. Квартальный не соглашается и уводит его; но, мы знаем, что не от кварталного зависит судьба Подхалюзина и, что не все в темном царстве так несговорчивы, как этот необыкновенный квар-

тальный... Мы даже почти уверены, по опущении занавеса, что при существующих общественных отношениях той среды, в которой действует Подхалюзин, он непременно найдет легкое средство вывернуться и оправдаться.

[^^^]

14

После первой нашей статьи, где говорилось о критиках Островского, появилось в журналах еще две статьи о нем. Одна имеет дифирамбический характер, но другая повторяет все нелепости, приписывавшиеся Островскому в прежнее время, и оканчивается тем, что советует ему «мыслить, мыслить и мыслить». Впрочем, обе статьи совершенно незначительны{53}.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Эпиграф взят из поэмы Гоголя «Мертвые души» (гл. IX).

[^^^]

2

Пьеса «Картина семейного счастья», которой открывалось первое собрание «Сочинений А. Островского» в 1859 г., была впервые опубликована в газете «Московский городской листок» 1847 г. Перед тем Островский напечатал там же сцены «Ожидание жениха» – отрывок из комедии «Несостоятельный должник», как назывался первый вариант пьесы «Свои люди – сочтемся». В течение нескольких лет пьеса эта не допускалась цензурой ни в печать, ни на сцену. Впервые напечатана в «Москвитяине», 1850, № 6. Об откликах на первые произведения Островского см. обзор: Н. И. Тогубалин. Творчество А. Н. Островского в жур-

нальной полемике 1847–1852 гг. – «Ученые записки ЛГУ», № 218, 1957.

[^^^]

3

«Молодой редакцией» журнала М. П. Погодина «Москвитянин» называлась группа его сотрудников, объединившихся вокруг А. Н. Островского и Ап. Григорьева. В группу эту входили и литературные критики – Б. Алмазов, Т. Филиппов, Е. Эдельсон.

[^^^]

4

Неточная цитата из статьи Ап. Григорьева «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене»: «*Четыре* из них даются на театре, но эти *четыре*, без церемонии говоря, создали народный театр» («Москвитянин», 1855, № 3).

[^^^]

5

Добролюбов цитирует стихи Ап. Григорьева «Искусство и правда. Элегия – ода – сатира» («Москвитянин», 1854, № 4).

[^^^]

6

Впервые «новым словом» произведения Островского назвал Ап. Григорьев в статье «Русская литература в 1851 году» («Москвитянин», 1852, № 1). Затем эта характеристика была повторена им в его статьях 1853–1855 гг.

[^^^]

7

Выступления французской актрисы Элизы Рашель (1821–1858) на русской сцене вызвали в печати большие споры. Ап. Григорьев, откликаясь на гастроли Рашель, резко противопоставил традициям классического театра новую русскую реалистическую драматургию, главой которой был, по его мнению, А. Н. Островский.

[^^^]

8

Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума», д. III, явл. 22.

[^^^]

9

Цитата из рецензии на комедию «Бедность не порок» («Отч. записки», 1854, № 6). Автором рецензии был П. Н. Кудрявцев.

[^^^]

10

В анонимной рецензии на «Повести и рассказы Евгении Тур» было сказано: «Г-жа Тур все уже сделала, что суждено ей было сделать в русской литературе, подобно, тому, как все уже сделали и сказали гг. Григорович и Островский» («Отеч. записки», 1859, № 6, стр. 95).

[^^^]

11

Цитата из статьи Ап. Григорьева «Русская изящная литература в 1852 году» («Москвитянин», 1853, № 1, стр. 19).

[^^^]

12

Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина, гл. 6.

[^^^]

13

Продолжение статьи Ап. Григорьева «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» было запрещено цензурой.

[^^^]

14

Перефразировка известных строк басни Крылова «Пустынник и медведь».

[^^^]

Н. Г. Чернышевский в «Современнике» (1856, № VI) резко критиковал статью Т. И. Филиппова в «Русской беседе» о пьесе Островского «Не так живи, как хочется». Эта же статья Филиппова, содержащая попутные выпады против романа «Кто виноват?», вызвала в 1857 г. отповедь Герцена в третьей книге «Полярной звезды»: «Я с ужасом и отвращением читал некоторые статьи славянофильских обзрений, от них веет застенком, рваными ноздрями, эпитимьей, покаяньем, Соловецким монастырем. Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс III Отделение <...>. Один из них пустил в меня, под охраной *самодержавной* полиции, комом отечественной грязи с таким *народным* запахом передней, с такой постной отрыжкой *православной* семинарии и с таким нахальством холопа, защищенного от палки недосыгаемостью запяток, что я на несколько минут перенесся на Плющиху, на Козье болото..» («Еще вариация на старую тему». – А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XII. М., 1957, стр. 424).

[^^^]

16

Добролюбов имеет в виду эпиграмму Н. Ф. Щербины:

*Со взглядом пьяным, взглядом уз-
кими
Приобретенным в погребу,
Себя зовет Шекспиром русским
Гостинодворский Коцебу.*

[^^^]

17

Автором статьи о комедии «Бедность не порок» в «Москвитянине» был Е. Эдельсон.

[^^^]

18

Цитата из статьи Т. И. Филиппова в «Русской беседе», 1856, № 1, о пьесе «Не так живи, как хочется».

[^^^]

19

Речь идет о статье Н. П. Некрасова «Сочинения А. Островского» («Атеней»), 1859, № 8).

[^^^]

20

Добролюбов имеет в виду Т. И. Филиппова. Далее он цитирует его статью о пьеса «Не так живи, как хочется» («Русская беседа», 1856, № 1).

[^^^]

21

Добролюбов цитирует высказывания Ап. Григорьева («Москвитянин», 1853, № 1, стр. 17) и Е. Эдельсона («Москвитянин», 1854, № 5, стр. 16–17).

[^^^]

22

Добролюбов имеет в виду анонимную рецензию П. Н. Кудрявцева на комедию «Бедность не порок» («Отеч. записки», 1854, № 6, стр. 100).

[^^^]

23

Резко отрицательная характеристика Б. Н. Алмазова, поэта и критика славянофильского лагеря, дана была Добролюбовым в рецензии на сборник «Утро» («Современник», 1859, № 1). Об А. Д. Ахшарумове см. выше, стр. 76–77.

[^^^]

24

Т. И. Филиппов в статье по поводу пьесы «Не так живи, как хочется» писал об образе Петра: «Следовало бы этот характер взять гораздо пошире, дать ему размах, свойственный русскому разгулу, который стремится в какую-то бесконечность» («Русская беседа», 1856, № 1, стр. 96).

[^^^]

25

Статья о «Доходном месте» в журнале «Атеней», 1858, № 10, подписана инициалами: «А. Щ.».

[^^^]

26

Добролюбов очень отрицательно характеризовал творчество В. А. Соллогуба и комедию Н. М. Львова «Предубеждение, или не место красит человека, а человек – место» («Современник», 1857, № VII; 1858, № VIII).

[^^^]

27

Эпиграф взят из пьесы Островского «Воспитанница» (дейст. III, явл. 3).

[^^^]

28

О понятии «самодурство» в связи со статьей «Темное царство» см. статью Чернышевского «Суеверие и правила логики» («Современник», 1859, № X). Об этом же термине см.: Н. И. Тотубалин. К истории слов, «самодур» и «самодурство». – «Ученые записки ЛГУ», вып. 25, 1955, стр. 234–237.

[^^^]

Речь идет о комедии «Картина семейного счастья» (в поздней редакции – «Семейная картина»).

[^^^]

Н. П. Некрасов, автор статьи «Сочинения А. Островского» в «Атенее», 1859, № 8, стр. 470–471.

[^^^]

31

Широко развернутую характеристику «лишних людей», показанных в русской литературе, Добролюбов дает в статье «Что такое обломовщина?» (1859).

[^^^]

32

Сравнение Вольтова с королем Лиром принадлежало критику Н. П. Некрасову. См. выше примеч. 38.

[^^^]

33

Добролюбов пользовался журнальным текстом комедии «Свои люди – сочтемся». В рецензированном им издании концовка этой комедии другая, измененная Островским под давлением цензуры.

[^^^]

34

Эпиграф взят из стихотворения Лермонтова «Три пальмы» (1839).

[^^^]

«Гроза» М. П. Розенгейма была опубликована в «Русском слове» 1859, № 8. Добролюбов явно имеет в виду концовку этого стихотворения: «Нет, не бойтесь бури, – засуха вреднее». Общая памфлетная характеристика лирики и сатиры М. П. Розенгейма дана была Добролюбовым в статье «Стихотворения М. П. Розенгейма» (1858).

[^^^]

Белинский резко отрицательно охарактеризовал «Выбранные места из переписки с друзьями» в «Современнике», 1847, № II, а особенно в своем известном письме к Гоголю, имевшем широкое нелегальное распространение.

[^^^]

«Кошихинствующие критики» – наивные апологеты Московского царства, быт и нравы которого подверглись разоблачительной характеристике в рукописи «О России в царствование Алексея Михайловича», изданной впервые в 1841 г. Автором рукописи был Г. К. Котошихин, или «Кошихин», подъячий Посольского приказа. Об отношении Добролюбова к этому памфлету см. его статью «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858).

[^^^]

38

Концовка стихотворения «Три пальмы». См. выше, примеч. 44.

[^^^]

39

Эпиграф взят из комедии Островского «Не в свои сани не садись» (д. III, явл. 5).

[^^^]

40

Эпиграф взят из стихотворения Ломоносова «Ода, выбранная из Иова» (1750). Первая строка в подлиннике читается: «В надежде тяготу сноси». См. эту же цитату далее, стр. 165.

[^^^]

41

Цитата из поэмы Некрасова «Несчастные» (1856).

[^^^]

42

Рецензия Добролюбова на пьесу «Воспитанница» опубликована в «Современнике», 1859, № II.

[^^^]

43

Добролюбов имеет в виду рецензию Е. Эдельсона на комедию «Бедность не порок» («Москвитянин», 1854, № 5).

[^^^]

44

Речь идет о Т. И. Филиппове. См. выше, примеч. 15.

[^^^]

45

Добролюбов цитирует статью Е. Эдельсона. См. выше, примеч. 16.

[^^^]

46

Рецензия в «Отеч. записках», 1854, № 6, стр. 101.

[^^^]

47

Добролюбов цитирует статью Н. П. Некрасова «Сочинения А. Островского» («Атеней», 1859, № 8, стр. 496).

[^^^]

48

Цитата из статьи А. Щ. о комедии «Доходное место» («Атеней», 1858, № 10, стр. 82).

[^^^]

49

«Весна» – литературный сборник на 1859 г. В этом сборнике была опубликована статья Н. Ахшарумова о «Воспитаннице» Островского.

[^^^]

50

Разбор «Бедной невесты» в «Москвитяине», 1853, № 1, принадлежал Ап. Григорьеву.

[^^^]

51

«Атеней» прекратил свое существование в 1859 г., на 8 номере, в котором была опубликована статья Н. П. Некрасова о сочинениях Островского. На прекращение «Атенея» Добролюбов иронически откликнулся в «Свистке», 1860, № 4.

[^^^]

52

«Орел» – реакционный «учено-литературный» журнал, издававшийся в 1859 г. в Петербурге А. Д. Балашевичем.

[^^^]

53

Первая из этих статей принадлежала А. В. Дружинину («Библиография для чтения», 1859, № 8), вторая – Н. С. Назарову («Отеч. записки», 1859, № 7 и 8).

[^^^]

[^^^]